

5  
1967

# Искатель

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ЖУРНАЛУ  
ЦК ВЛКСМ

ВОКРУГ  СВЕТА

ФАНТАСТИКА • ПРИКЛЮЧЕНИЯ





## **К пятидесятилетию Великого Октября**

*«Закончилась гражданская война, и бывшие уральские рабочие вернулись в родные края. Как новые и отныне вовек не сменяемые хозяева, взяли они в свои руки бывшие владения российских заводчиков Демидовых — «князей Сан-Донато».*

*А л е к с а н д р Ш а м а р о,  
«Урал, станция Сан-Донато».*

*«После первой схватки они стали солдатами. Теперь они были победителями, и любой из них понимал, что это чувство, это ощущение человека-освободителя навсегда вошло в их жизнь и уже останется с ними до последней минуты».*

*З. С м и р н о в а - М е д в е д е в а,  
«Неожиданный рейд».*

*«Так зачем же едут сюда, в Сибирь? Зачем спешат сюда пять тысяч таких, как Заки: из Молдавии и Башкирии, из Воронежской области и нефтяной «Мекки» — Баку?»*

*Тюменская тайга... Она, подобно старателю, пропускает сквозь сито своих испытаний и трудностей человеческие характеры, оставляя золотые россыпи душ героев — сильных, гордых, закаленных».*

*Л. Ш е р с т е н н и к о в,  
«Нефтяной король».*

# Искажель

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ  
ЦК ВЛКСМ

ВОКРУГ  СВЕТА

## • ФАНТАСТИКА • • ПРИКЛЮЧЕНИЯ •

### СОДЕРЖАНИЕ :

Юрий ФЕДОРОВ — Там, за холмом, — победа . . . . .	2
Л. ШЕРСТЕННИКОВ — Нефтяной король . . . . .	49
Олег КУВАЕВ — Азовский вариант . . . . .	56
Александр ШАМАРО — Урал, станция Сан-Дonato . . . . .	99
З. СМЕРНОВА-МЕДВЕДЕВА — Неожиданный рейд . . . . .	110
К. АЛТАЙСКИЙ — Ракета . . . . .	152

№ 5 (41)

1967

СЕДЬМОЙ ГОД ИЗДАНИЯ

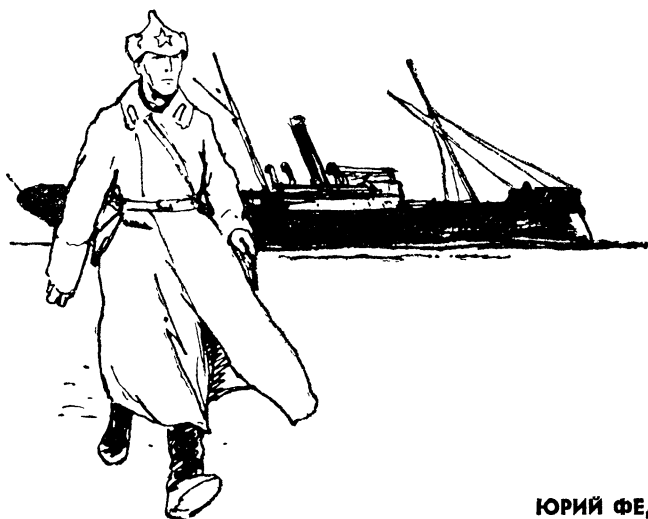
# ТАМ,

**В** середине октября 1920 года в Дончека приняли телефонограмму: «Сегодня близ Азова бурей выбросило на мель судно «Атлант». На борту судна обнаружен труп матроса Александра Шевчука. Убит двумя выстрелами в грудь. О других членах команды ничего не известно...»

На этом разговор оборвался.

Телефонист крикнул:





ЮРИЙ ФЕДОРОВ

# ЗА ХОЛМОМ, — ПОБЕДА

Повесть

Рисунки П. ПАВЛИНОВА

— Алло! Алло!

Но трубка молчала. Телефонист до хрипоты кричал:

— Я слушаю!.. Слушаю!..

Ответа не было. Линия была старой, много раз чиненной, и телефонист, отчаявшись, бросил трубку. С треском выдрал из тетради лист, помусолил карандаш и записал сообщение из Азова. Затем поднялся единым махом, летя через две ступени, взбежал на третий этаж к дежурному. Дежурный, взглянув на криво и косо бегущие строчки, сказал:

— Хорошо, товарищ.

Через две минуты листок лежал на столе начальника Дончека Скорятина.

Скорятин был немолод. За плечами у него и ссылка, и ка-торга, и бои. Многие бои. В первые же дни освобождения Ростова от белоказаков его вызвали к командующему.

— Вас назначают начальником Дончека.

— Меня? — удивился Скорятин. — Боевого командира!

— Так нужно, — ответил командующий.

А через час Скорятин вышел из штаба и, закинув за плечо мешок с полученными дензнаками, пошagal с ординарцем подыскивать помещение под ЧК. В городе еще дымилась от артобстрела дома. Булыжник мостовой был разворочен.

Скорятин долго бродил по городу, но, наконец, остановился у особняка бежавшего от наступающих частей Красной Армии сахарозаводчика. Дверь была закрыта. Скорятин дернул цепочку звонка. Где-то в глубине дома надтреснуто звякнул колокольчик, но к дверям никто не вышел. Скорятин еще раз подергал цепочку, затем достал наган и грохнул в окованные бронзовыми гвоздями двери рукояткой. Дверь тотчас приотворилась. Швейцар, выставив в щель бороду патриарха, зло сказал:

— Господа уехали. Не велено никого пускать.

— Господ больше нет, папаша, — возразил Скорятин и, легко отстранив его, пошел вверх по лестнице.

Пыльный хрусталь люстр тонко позванивал, когда он шагал по залам.

— Что это? — спросил Скорятин, показав в одной из комнат на пышную, под багдахином, всю в точеных амурах, широченную кровать.

— Здесь опочивальня барыни, — пришепetyвая, сказал швейцар, — это ее ложе.

— Так, — решительно заявил Скорятин. — Это вынести. Комнаты проветрить. Здесь будет помещаться революционная ЧК.

С тех пор прошло полгода.

В день получения телефонограммы, докладывая секретарю комитета партии обстановку в крае, Скорятин сообщил о случае с «Атлантом».

Секретарь Донкома, выслушав, сказал после недолгого молчания:

— Убежден, за этим случаем стоит что-то серьезное.

Дождь стучал по подоконнику, словно стоя торопливых и прожорливых голубей.

— О ходе следствия сообщайте немедленно.

— Есть! — по-военному ответил Скорятин и начал собирать разложенные на столе документы в папку.

Время вихрилось событиями. На дорогах Донщины еще гремели выстрелы, и большие и малые «батьки» гуляли по станицам и буеракам, по-волчьи скаля зубы на молодую Советскую власть. Мослак, Фомин, Черный Ангел... Банды рыскали по степным шляхам...

Секретарь поднялся из-за стола.

На мостовой дождь пузырил лужи. На противоположной стороне улицы, у магазина, толпились женщины.

«За хлебом», — подумал секретарь и, отойдя от окна, сказал Скорятину:

— Так, держи меня в курсе дела.

Вернувшись в ЧК, Скорятин вызвал дежурного.

— В Азов пошлите следователя Романова.

На улице посерело. Смеркалось. Скорятин услышал, как крикнули в коридоре:

— Романова к дежурному!

Затем в гулкой тишине простучали шаги, и все смолкло.

«В ночь поедет, — подумал о следователе начальник Дончека. — Надо дать сопровождающего. Опасно».

Следователь Дончека Романов приехал на судно ранним утром, проскакав за ночь верст пятьдесят.

«Атлант» помнят на Дону немногие, но в свое время ходил он по всей реке, гулял по быстрине, а гудок его, низкий и хриплый, знали и в Ростове, и в Таганроге, и в Константиновке. Спустившись в его трюмы, по давним запахам можно было понять, что «Атлант» на своем веку служил долго и видел всякое. В трюмах стоял неистребимый запах знаменитого донского рыбца, бесчисленных солений, яблок и многого другого, что так обильно и щедро дает людям богатая донская земля.

Романов поднялся на борт «Атланта» и прошел в машинное отделение, где лежал убитый. Металл палубы прозвенел под сапогами. Волна била в борт.

Романов был недавним сотрудником ЧК. О его прошлом говорила выцветшая буденовка и простреленная и пробитая во многих местах длиннополая шинель конника. Еще год назад ходил он в конном строю в атаку и хорошо знал, что такое пулевая рана.

«Да, — подумал он, склонившись над убитым матросом, — укатали тебя добре».

У матроса были рыжеватые волосы, смуглое, обожженное солнцем лицо, которое даже смерть не смогла испортить. Разглядывая это лицо, Романов неожиданно почувствовал симпатию к незнакомому человеку. Симпатию и жалость.

Широко раскинутые руки матроса были задубевшие, рабские.

Через несколько минут следователь поднялся на палубу. Ветер подхватил полы его шинели. Романов оглянулся. У трапа, перекинутого прямо с берега, его ждали двое. Ничего им не сказав, он прошел в рулевую рубку.

Ожидавшие мерзли под непрестанно моросившим дождем, покуривали, зябко пряча головы в поднятые воротники. Ветер играл волной.

Романов был худой, высокий, губы на бледном лице давно недоедавшего человека плотно сжаты; и один из ожидавших, подумав было крикнуть, что, мол, холодно, товарищ, и надоело ждать, промолчал, только глубже спрятал голову в поднятый воротник. На Азове осень всегда холодна.

Романов оглядел дыбившиеся волны, глинистый берег. Прикинул: «Если команда ушла на шлюпке, по такой волне не больно-то выгребешь».

У горизонта хмурились тучи, горбились, обещали долгую непогоду.

Романов помедлил. «Так с чего начинать?» Это было его первое следствие.

На облезлом берегу топорщились неуютные кустики. Ветер посвистывал в запутанных тросах на мачте.

Следователь помедлил еще мгновение и прошел в каюту капитана. Дверь оказалась незапертой. Остановившись на пороге, Романов внимательно, предмет за предметом, осмотрел все и только тогда вошел в каюту.

Ничто не бросилось в глаза, ничто не задержало внимания. Но все же Романов отметил — обычная каюта, прокуренная, продымленная, почему-то отделана красным деревом, медными бляхами, обставлена мягкими диванами.

Под столом следователь нашел грудку пустых винных бутылок. Коньяк, виски. Вина были дорогие.

«Ну и что? — подумал он. — Капитан все это мог купить в Таганроге, на иностранных судах...»

В платяном шкафу висели тщательно отутюженный костюм капитана, пальто, стопкой лежали крахмальные рубашки.

«Не наш брат пролетарий, — подумал следователь, катая в пальцах мягкое, шелковистое сукно рукава форменной капитанской куртки, — богач...»

Он не доверял богатству, так как за свои недолгие двадцать два года слишком много повидал несправедливости, жестокости, лжи, ненависти. И все это — и несправедливость, и жестокость, и ложь, и ненависть — соединялось для него в людях сытых и богатых.

Следователь захлопнул шкаф и, подойдя к столу, потянул ручку дверок.

В одном из ящиков он нашел судовой журнал, карту, какие-то записи на разрозненных листках.

Романов бегло прочитал записи, сложил в стопку журнал, письма, карту и, завернув все в газету, вновь вышел на палубу.

Ожидавшие его у трапа, видимо, окончательно продрогли, и тот, что был постарше, сказал:

— Товарищ, долго мы еще здесь валандаться будем?

Следователь позвал их на палубу и повел за собой в машинное отделение.

Эти двое были работниками Азовского порта. Они знали о случившемся на судне, знали об убийстве и все же, спустившись в машинное отделение и увидев труп матроса, как-то сразу сникли, остановились у трапа, не решаясь идти дальше.

Следователь прошел к котлам и, повернувшись, позвал:

— Посмотрите, судно может идти своим ходом?

Осторожно ступая между бортом и навзничь лежащим человеком, портовики прошли к машине и, негромко переговариваясь, завозились у рычагов, манометров и рукояток.

Следователь присел в сторонке.

Позвякивая металлом, перебрасываясь односложными фразами, азовцы осмотрели котел, для чего-то заглянули в топку, затем подняли люк в днище, и один из них спустился в раскрывшуюся черную дыру.

Романов молчал. В тишине слышно было, как волны плещутся о борт, стучатся, не смолкая, что-то говорят долгое и неспокойное, но никак не могут договориться.

Прошло минут двадцать. Неожиданно Романов спросил:

— А что это такое?

Он наклонился и поднял согнутый в баранку лом. Металл был измят и искорежен. Азовское море — гнилое море. Желтый налет ржавчины садится на металл мгновенно. Надраенная поверхность металла, шелковисто отливающая зеркальным блеском, за сутки-двое покрывается рыжей трухой коррозии.

Блестящие притиски металла на ломе были свежими.

Один из портовиков оглянулся и шагнул к тускло отсвечивающему масляной поверхностью коленчатому валу.

— Лихое дело, товарищ, — сказал он через минуту, — вал потревожен. Лом кто-то полыхнул в шатуны.

\* \* \*

В Ростов возвращался Романов к вечеру.

Матроса похоронили. Каюты и трюмы на «Атланте» следователь опечатал и дал команду отбуксировать судно в ковш.

Дождь, было утихший днем, начался вновь, и дорогу окончательно развезло.

— Может, подождешь до завтра, товарищ? — сказал Романову начальник азовской милиции. — Глядишь, распогодит...

— Нет, — ответил Романов, — поеду.

Вставив ногу в стремя, он легко кинул в седло свое длинное тело и уже сверху кивнул начальнику милиции.

— Будь здоров, товарищ.

Начальник милиции поднес руку к козырьку фуражки. Романов выехал со двора.

Сильный, мышастой масти жеребец, утопая по бабки в грязи, вспотел на третьей версте, но шел ходко.

Романов бросил повод и закурил. Дым острой, щемящей волной вошел в грудь.

С хлопаньем жеребец выдирает копыта из грязи. На дороге Романов был один. Он так и не взял с собой милиционера, сказав накануне дежурному:

— Каждый человек на счету. Не привыкать. Отобьюсь, если что...

Самокрутка догорела до пальцев, и Романов, швырнув ее в лужу, запахнул полы шинели, тронул плотный бок жеребца каблукком.

— Ну, милый...

Жеребец пошел шибче, ветер мягкой волной толкнулся в лицо.

Много лет Романов провел в седле, хороший конь всегда радовал его, и сейчас от доброго шага, которым этот подбористый жеребец мерил уже десятую версту, стало у Романова как-то веселее в груди. Сидел он в седле крепко, угрелся и мог бы задремать, чуть ослабив повод, но мысли вились вокруг «Атланта», убитого рыжеволосого матроса, искореженного лома.

«Что же у них там произошло? Парень наверняка наш», — думал он, но ответа не находил.

Три года гражданской войны ходил Романов с клинком в руке в атаку, последний год водил за собой эскадрон. А бой не легкое дело... И все же тогда, когда лава хрипящих коней шла в бешеном намете навстречу гремящим пулеметам, было для него все ясным и понятным. Перед тобой враг — его надо смять, опрокинуть и гнать по степи. И золотые погоны будут разбросаны по буеракам, а ветер, как перекасти-поле, развеет офицерские фуражки. А сейчас не пела труба, зовя вперед, не гремели пулеметы и враг не стоял на противоположных холмах. А убитые были, и дежурный по ЧК, отправляя его в путь, выдал полный боевой комплект патронов, и заглянул он в глаза убитого товарища, и видел кровь.

Романов потуже подобрал в костистых пальцах повод. Дорога пошла под уклон.

«Не поет труба, — подумал, — а враг, наверное, даже злей».

Дорога петляла по осенней степи, вилась, уходя к горизонту.

Лицо Романова зачугунело под ветром, резче обозначились скулы.

Впереди показалась деревушка. Обгорелые хаты торчали на холмах. Рыбьей костью дыбилась посреди печных труб колокольня. Наверху вместо креста полыхал красный флаг.

Подъехав ближе, Романов услышал, как где-то на задах ная-ривала гармонь. Ветер донес обрывки голосов. Потянуло запахом печеного хлеба. Романов пришпорил коня.

За околицей степь вновь расстилалась без края. Земля казалась усталой, притихшей. Степь ждала покоя. Но Романов знал, что покоя не было.

Брезгливо ставя копыта в жидкое месиво дороги, жеребец спустился в лог. Дорога легла меж холмов. На старых, давно выбеленных дождем и солнцем телеграфных столбах горбилось мокрое воронье. Провожало одинокого всадника равнодушным карканьем. Степь хмурилась. Ближе к Дону потянуло ветром, дорога стала суше. Жеребец побежал веселее, а уж на мост взбежал совсем бойко, словно и не было дальней дороги.

Перед въездом в Ростов следователь придержал коня, вытер ему морду, протер ноздри и, вновь поднявшись в седло, пустил шибко. Считал: надо торопиться, дело в Азове оставалось неясным.

Копыта простучали по деревянному настилу моста, прозвенели по булыжнику, и Романов свернул на темную, без единого фонаря Садовую.

На заднем дворе следователь отдал повод подоспевшему конюху и, разминая ноги, затекшие от долгого сидения в седле, пошел к крыльцу. За сутки он проскакал больше ста верст. Перегон немалый, даже по самым крутым временам.

В дверях Романова встретил дежурный. Романов знал его давно, по Первой Конной, да и в ЧК направили их в одно время;



но за многие годы не помнил Романов, когда бы тот закрыл рот. «Яблочко» не сходило с уст парня. Где бы ни остановился эскадрон — в поле ли, в деревне ли, — стучал тот в землю коваными каблуками, тянул свое «Яблочко». Бойцы его любили. С таким не соскучишься. К тому же был он парнем незлобным. И сейчас, выйдя навстречу, спросил:

— По каким буеракам тебя носило? Ишь всю морду грязью захлестал. Давай солью.

Пока Романов снимал шинель, дежурный вынес толстый, пузатый, неизвестно как попавший в ЧК графин и тут же, с края крыльца, полил Романову на руки. Умывшись, Романов спросил:

— Начальник здесь?

— Здесь, — ответил дежурный и тут же добавил: — А ты рыбки, часом, из Азова не привез?

— Нет, — ответил Романов, — какая уж рыбка...

— Эх, народ! — вздохнул дежурный. — Никто не расстается для ближнего...

Романов шутя толкнул его локтем.

— Но ты-то уж насчет пожрать себя не обидишь.

И пошел вверх к начальнику.

Скорятин был один.

— Заходи, — сказал он, увидев Романова. — Быстро ты обернулся. Садись.

Видно было, что Скорятин ждал его и беспокоился. Даже вперед подался на стуле.

Романов рассказал об увиденном в Азове. Скорятин выслушал его молча, затем сказал:

— Вот что, Романов, помощников дать тебе не могу. Знаешь — с людьми трудно... Опытом помочь — времени нет. Сам добывай опыт. Классовая бдительность у тебя есть... Революцию ты завоевывал своим хребтом. Вижу — дело сложное, но что ж, разбирайся.

На этом разговор закончился. Начальника Дончека вызвали по телефону. Следователь поднялся. Скорятин, на мгновение опустив трубку, показал ему рукой — мол, посиди еще, но, видно, на другом конце провода сказали такое, что он только махнул: ладно, иди!

Романов вышел из кабинета.

\* \* \*

Следователь жил в старой гостинице, когда-то по-купечески пышной, с зеркалами в золотых рамах в вестибюле, с тяжелыми бархатными портьерами, с лепными розовощекиными амурами на потолках. Но купеческие времена для гостиницы прошли. За годы гражданской войны в ней побывали и дроздовцы, и денникины, и анархисты, и каждый оставил свой след. Пустые и оттого гулкие коридоры щерились изломанным и исковерканным паркетом, ободранные портьеры свисали с окон, зеркала жалко поблескивали осколками в разбитых рамах.

Прошагав по коридору, Романов остановился у дверей свое-

го номера и долго рылся в карманах, отыскивая ключ. Ключ оказался за подкладкой, провалившись сквозь прореху в кармане.

Отворив дверь, Романов прошел в комнату, снял длиннополую шинель и устало бросил ее на стул. Затем сел к столу и опустил голову на сжатые кулаки. Так он отдыхал.

Когда он поднял голову, на лице его по-прежнему лежали серые бессонные тени, но глаза посветлели и не было в них прежней напряженности. Из кармана шинели он достал ломоть хлеба, налил кружку воды и вновь сел к столу. Ужин занял пять минут. Всего только пять... Потом он смел со стола крошки и подвинул к себе газетный сверток с судовым журналом, картой и письмами капитана «Атланта».

Журнал он читал долго, внимательно, страницу за страницей. Потом просмотрел список судовой команды и взялся за письма. Писем было около пятнадцати. Написаны они были одним человеком, и по почерку следователь уже знал, что это была рука капитана. Почерк был заметным — угловатым, строгим, буквы чуть валились налево.

Романову было известно, что капитан «Атланта» — немец. И, перечитывая письма, он отчетливо вспомнил строгие готические буквы вывески над магазином немца-купца, который торговал на их улице, когда Романов был еще мальчишкой.

О Ростове, старом русском городе, до революции кто-то метко сказал, что он скорее напоминает Франкфурт-на-Майне, так много жило в нем немцев.

«...Дорогой Отто!» — писал капитан «Атланта» какому-то адресату в Ейск. Дальше шли поклоны знакомым, советы, какие-то объяснения. Писал капитан длинно, нудно, скучно и о пустячных делах. Но Романов настойчиво читал письмо за письмом. Эти письма пока были единственной возможностью, чтобы составить мнение о человеке, который наверняка знал все, что случилось на «Атланте».

Волосы Романова сползали на лоб, он отбрасывал их и вновь продолжал читать, шевеля губами.

Письма были адресованы в Ейск, Екатеринодар, Бердянск, Мариуполь и даже в Москву и Харьков...

В конце каждого письма было неизменное приглашение приехать погостить. Романов сличил числа на конвертах. Оказалось, что письма написаны за одну неделю. Примерно два месяца назад. В середине июля.

«Что ж он, — подумал Романов, — за несколько дней пригласил к себе погостить почти пятнадцать человек». Такое широкое гостеприимство удивляло. Следовательно просмотрел фамилии приглашенных и вновь достал из судового журнала список команды. Почти полностью команда была составлена из людей, которым капитан написал письма с добрыми домашними советами и родственными поклонами.

Романов дочитал письма, затем сложил, как прежде, журнал, карту, записки капитана, завернул их в газету и поднялся, накинув шинель.

Комната была тесной: пять шагов от окна к дверям. Узкий

диван, кровать, покрытая серым солдатским одеялом. Романов прошагал по неровному паркету.

На бульваре ветер мял акации, срывал последнюю листву. Редкие фонари тускло светили синим глазом.

«Ишь ты, — глядя на свет фонарей, подумал Романов, — богатею. Фонари зажгли».

У городского Совета едва хватило средств на эту редкую цепочку фонарей. Их зажигали поздно и рано гасили. Но все-таки их зажгли. И они светили в листве акаций.

«Сейчас бы работать и работать», — подумал Романов. Он взглянул на свои крепкие руки. Когда он только что пришел в Первую Конную, командир сказал ему: «Видишь холм? Возьмем его, и там, за холмом, — победа!»

Потом был бой. И холм взяли. А впереди был новый холм. И командир опять сказал: «Ничего. Видишь холм?.. Возьмем его, и... победа».

И опять взяли холм. А потом множество других. Командир погиб. Романов стал на его место. И теперь уже он повел людей. Желтые от конской мочи дороги, мат и крики ездовых, скрип бесчисленных телег... Все было. Серебряным горлом пела труба...

Следователь побарабанил пальцами по мокрому стеклу. Подумал: «А до того холма, за которым победа, я, пожалуй, еще не дошел. Нет, не дошел...»

Паркет проскрипел под сапогами. Пять шагов от окна к двери, пять шагов от дверей к окну. Вспомнились слова Скорятина: «Сам добывай опыт. Помочь тебе времени нет». Помощи Романов не ждал. Знал, время такое, что требует от каждого всех сил, без остатка. Побарабанил еще раз пальцами по стеклу, подумал: «Ну ладно, посмотрим...»

\* \* \*

Осень двадцатого года в Ростове была ранней. Незаметно с севера подобрался холод, и в одну ночь пожелтели деревья, сникли луга в Задонье, дождь нахлестал лужи. Дон поднялся и, выйдя из берегов, тяжело катил мутные серые волны, жгутами свивавшиеся на быстрине. Поднявшаяся вода срывала бакены, валила поставленные по фарватеру вежи, намывала песчаные перекаты в самых неожиданных местах. За несколько дней октября было два или три случая, когда суда, сойдя с фарватера, садились на мель.

Но все-таки порт жил. Грузы шли из Керчи, из Ейска, Бердянска. Грузы скапливались на набережной горами пшеницы, подсолнуха, штабелями вяленой рыбы. И все это надо было отправлять на север срочно, до холодов, до ледостава. Москва голодала, голодал революционный Питер, голодала Центральная Россия.

Командование Донского военного округа направило в порт полк знаменитой боевой 9-й Донской дивизии. Красноармейцы грузили суда, и пароходы, тревожно перекликаясь в тумане,

шли на север. Жизнь в порту не замирала ни на минуту. Суда уходили днем, вечером, ночью...

Когда Романов пришел в порт, у причала под парами стояло тяжелое судно. Следователь остановился, оглядываясь.

Красноармейцы, выстроившись в цепочку, с рук на руки передавали тяжелые мешки.

Прямо на Романова из-за бухт канатов, сваленных в грязь причала, вынырнул невысокий тучный человек с какими-то бумагами в руках. Размахивая бумагами, он кричал, срываясь на визгливые нотки:

— Вы понимаете, уважаемый, судно не может идти с такой загруженностью! Фарватер непостоянен, перекаты... А перегрузка судна увеличила осадку...

Он повернулся к идущему следом здоровяку в распахнутом бушлате.

— Вы понимаете?

Здоровяк запахнул бушлат и сказал неожиданно низким голосом:

— Вот что, капитан. Я все понимаю. А понимаешь ли ты, что голодают дети? Судовой комитет постановил провести судно, и ты на дороге не маячь...

Нависая над толстяком, он загремел с высоты своего роста:

— И меня на «понял» не бери...

Капитан ссутулил плечи и юркнул к трапу.

Романов шагнул к здоровяку в бушлате.

— Я из Дончека, — сказал он, — вот мой мандат.

Тот взял алую книжку мандата, внимательно прочитал от первой до последней буквы и, возвращая, протянул руку.

— Здравствуй, товарищ Романов. Я — Ремизов, из портового комитета. Видишь, воюем. Саботируют старые капитаны.

Серые, широко расставленные глаза его прищурились.

— Ты что, с разговором каким?

— Да, — ответил Романов.

— Тогда пойдем.

По жиденьким доскам, проложенным через грязь, они зашагали к конторе. Ремизов шел впереди, басил:

— Не все, конечно, саботируют. Большинство стало на нашу сторону. Но есть и такие, как видишь...

Сзади, от причала, раздался хриплый отвалный гудок.

— Пошел, старый черт, — повернулся Ремизов. — Груз у него — хлеб...

В конторе никого не было. Ремизов сел к щербатому, изрезанному столу, отодвинул в сторону какие-то листы, пузырек с чернилами, сказал:

— Слушаю тебя, товарищ.

— Ты коммунист? — спросил следователь.

— Коммунист.

— Я по поводу «Атланта», — без обиняков начал Романов.

Красное, задубевшее под ветром и солнцем лицо Ремизова

было хмуро. Слушая, он изредка поглаживал ладонью крышку стола, а когда следователь закончил, сказал:

— Да, братишка... Дело дрянь. Чувствую, и портового комитета вина здесь есть... Недоглядели за «Атлантом».

Он опять помолчал. Затем сказал:

— Сашку Шевчука я знал хорошо. Хлопец он наш. Может, не даже грамотный, но нутро у него пролетарское. Жаль, погиб...

Широкой ладонью он провел по столу, словно смахивая крошки, но щербатые доски и так были чисты. Сказал еще раз:

— Жаль...

По тому, как это было сказано, Романов понял, что Ремизов, наверное, увидел сейчас лицо знакомого ему Шевчука и действительно пожалел, что не ходить тому больше по земле.

Широкая ладонь собралась в кулак.

— За здорово живешь Сашка бы голову под пулю не подставил. Видно, круто пришлось...

Он стукнул кулаком по столу.

— Гады, не дают они нам спокойно жить!.. Капитана «Атланта» я тоже знаю. Барин. Не раз с ним собачился. Захребетник. Нашего брата не пожалеет. И башковитый. Понимает: или они нас, или мы их... А вот что он задумал? Значит, на судне все брошено и никого?

— Да, — ответил Романов.

— Закавыка...

Они проговорили еще с полчаса. Порешили на том, что Ремизов сегодня же и завтра с утра соберет все сведения, какие удастся, о капитане «Атланта» и команде. Романов же попытается узнать, не обнаружили ли где-нибудь по Дону и на Азовщине баркас с «Атланта», на котором ушли команда и капитан после убийства Александра Шевчука.

Когда они вышли из конторы, стемнело. Низкое осеннее небо, без звезд и просветов в облаках, придавило и Дон и землю.

— До завтра, товарищ, — сказал следователь.

— До завтра, — пробасил Ремизов, сжимая ладонь Романова, и вдруг, задержав ее, хрипло сказал: — Стой!

Ремизов смотрел мимо Романова куда-то вдаль. Следователь резко повернулся по направлению его взгляда.

Вдали, под фонарем, стоял человек.

— Помощник капитана «Атланта», — сказал Ремизов, приглушая голос, словно тот мог услышать.

Человек под фонарем, задержавшись на мгновение, шагнул в тень пакгаузов.

— Эй, друг, постой! — крикнул Ремизов.

Но человек заспешил куда-то в темноту.

— Уйдет! — выдохнул Ремизов, и они, не сговариваясь, вдвоем бросились к пакгаузам.

Они бежали по грязи, спотыкаясь на каких-то рытвинах, запинаясь о брошенные доски, мотки проволоки. Слышно было, как впереди чавкала земля под ногами бегущего человека.

— К грузовому двору идет, гад, там не найдешь, — на бегу прохрипел Ремизов.

И сейчас же из темноты в лица им хлестнули выстрелы: один, затем второй, третий...

Следователь, падая, выхватил наган и выстрелил на звук раз и еще. Когда грохот выстрелов смолк, они услышали, как зашлепали по воде весла. Ремизов и Романов поднялись и бросились к берегу. С лодки прогремели два выстрела. Пули с визгом ударили в стену пакгауза.

— Все, — сказал Ремизов. — Теперь не догонишь, ушли. Лодка его ждала.

Уключины еще стучали вдалеке и, наконец, смолкли.

Ремизов повернулся к следователю и увидел, что тот прижимает рукой бок.

— Что, зацепил? — тревожно спросил он.

— Да, есть немного, — сказал Романов, чувствуя под пальцами, как все больше и больше промокает от крови гимнастерка. — Царапнуло.

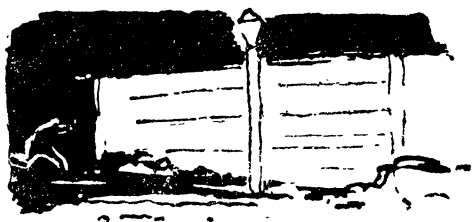
Они вернулись в контору. На гимнастерке Романова расплылось темное пятно. Ремизов сказал:

— Беглец наш, видно, офицер, бьет ничего. Умеет...

Кровь не унималась. Ремизов с треском оторвал нижний край тельняшки.

— Жена будет ругаться. Скажет: «Где это тебя черти драли?»

Романов, стиснув зубы от пронзившей его боли, сказал:





— Тельняшка-то еще новая.

— Эх, ты! — засмеялся Ремизов. — Себя под пулю подставил — не пожалел, а тельняшку жаль стало. Давай поворачивайся, перевяжу.

\* \* \*

Уже совсем к ночи следователь пришел в Дончека. Все окна в здании светились. У подъезда строились красноармейцы, позвякивали удилами кони. По мостовой были разбросаны клочки сена.

«Видно, опять где-то банда объявилась», — подумал Романов, предъявляя пропуск часовому.

Переступая через ноги сидящих на лестнице усталых бойцов, только что вернувшихся с патрулирования, он поднялся на второй этаж и хотел пройти в свой кабинет, но его остановил дежурный:

— Романов, к начальнику.

Когда следователь вошел в кабинет Скорятина, тот слушал доклад командира эскадрона.

— Ладно, — прервал разговор Скорятин, — через полчаса выступаем.

И, повернувшись, спросил следователя:

— Ты что, Романов, ранен? Садись. Банда вот опять в Морозовской объявилась... Выступаем...



Отпустив командира эскадрона, Скорятин спросил:

— Серьезно ранен?

— Нет, — сказал Романов и рассказал о случившемся.

— Да... — протянул Скорятин. — За опыт каждый из нас платит шишками; на том уж, видно, и держится земля.

Но на разговоры времени у него уже не было. Он только спросил:

— Ты на квартире капитана «Атланта» был?

— Нет.

— То-то... А с этого, наверное, и надо было начинать... В дежурке сидит беспризорник. Ребята наши задержали. Поговори с ним... Я буду в Ростове через два дня. Все. Иди.

Следователь встал и пошел к дверям.

— Постой, Романов, — остановил его Скорятин.

Следователь повернулся. Начальник Дончека помолчал, затем сказал, подбирая слова:

— Ты конник и был в боях, но все же я хочу тебе сказать. Лоб под пули подставлять ты не имеешь права. Все мы — солдаты Революции и нужны ей... Запомни это...

Беспризорник оказался парнишкой лет двенадцати-тринадцати, с шустрыми темными глазами, резко выделявшимися на бледном, даже, казалось, голубоватом, давно не мытом лице. Одет он был в какую-то рвань, нисколько не гревшую его, так как, сидя в дежурке на высокой скамье, он зябко ежился, натягивая воротник драного пиджака на уши.

— Пойдем со мной, — позвал его Романов и повел на второй этаж.

В кабинете было теплее, чем в выстуженной дежурке, и, войдя, парнишка сказал:

— Гарное помещение... Теплынько здесь...

Но сел подальше от окна. Из форточки дуло.

Следователь достал банку с махоркой.

— Дай и мне, дядька, закурить, — сказал беспризорник.

Романов промолчал.

— Дашь или нет? — повторил беспризорник.

Следователь прикурил, сказал:

— Гуляешь ты, парнишка...

— А что, — сказал беспризорник, — другие дают. Так не дашь?

— Нет.

— Ладно...

И, вдруг потеплев, добавил:

— Батка бы мой, наверное, тоже не дал.

— По шее бы дал тебе батка, а не закурить.

— Это точно, — засмеялся беспризорник, но тут же поскучился. — Да вот батки только нет...

— Откуда ты? — спросил Романов.

— Из Кагальника, мабудь, знаешь?

— Знаю. А где родители?

— Матка умерла, батка с фронта не вернулся. Я и по-

шел гулять. Есть-то надо, — по-взрослому строго сказал пацан.

— Так... — протянул Романов. — А как тебя зовут?

— Антоном, а по-уличному — Подкова.

— Ну, уличную кличку мы забудем. Ты чаю хочешь?

И тут же следователь понял, что спросил напрасно. У пацана даже нос заострился, тень пошла по лицу.

«Что ж они, — подумал о дежурных Романов, — не могли кипятку дать мальцу, что ли?»

Он поднялся.

— Ты подожди, я сейчас.

Через полчаса за кипятком с черным хлебом беспризорник рассказал, что утром в порту его остановил какой-то человек и, назвав адрес — Сенная, 15, квартира 3, — дал ключи и поручил сходить, открыть квартиру и, взяв из стола портфель с бумагами, принести назад в порт вечером или на завтра к вокзалу.



— Сказал, заплатит, — поднял глаза на Романова беспризорник.

О том, что произошло дальше, следователь уже знал: парнишку задержали, когда он пытался взломать замок в дверях.

— Что же ты ключом не открывал? — спросил Романов.

— Ключ я обронил, — сказал пацан, — карманы-то драные.

Он пил уже вторую кружку и даже порозовел. Глаза оживились. Романов пододвинул ему свой кусок хлеба. Беспризорник взглянул на него.

— Ничего, — сказал Романов, — ты ешь, я сыт.

— Вижу, какой ты сытый, — неожиданно ответил беспризорник, — штаны еле держатся.

Романов засмеялся.

— Ну, тогда пополам.

Он переломил хлеб и, отдав половину, дожевывал свой кусок, запивая обжигающим кипятком.

— Ну, теперь во как сыт! — сказал беспризорник, проведя ладонью по горлу. — Спасибо.

Он отодвинулся от стола, прислонился к стене. Усталость, видно, брала свое. Романов посмотрел на него, подумал: «Тебя бы сейчас спать уложить — ожил, глядишь...» Но надо было идти. И он поднялся, сказал:

— Ладно, поспишь потом, а сейчас пойдем посмотрим, что там за портфель.

В коридорах ЧК опустело. На лестнице, где еще недавно сидели вдоль стен бойцы конного эскадрона, только белели затоптанные самокрутки.

Шевельнулась беспокойная мысль: «Что там, в Морозовской?» Он знал: дороги сейчас плохи, кони устали.

Где-то далеко, в одной из комнат стучала пишущая машинка. Редко: тук-тук... тук-тук.. Кто-то стучал одним пальцем. Романов и беспризорник миновали часового и вышли на улицу.

Дом на Сенной оказался приземистым двухэтажным особняком с высокими окнами, лепными карнизами. Света в окнах не было. Следователь тронул дверь подъезда, и она легко отворилась.

— Квартира на втором этаже, — сказал сиплым от сырости голосом беспризорник.

Лестница была широкой, мраморной, барской. Они поднялись на второй этаж. Следователь осмотрел замок, вытащил из-под ремня небольшой ломик и, вставив в щель у замка, нажал плечом. Замок треснул, и дверь подалась. Все еще держа ломик в руке, следователь шагнул в темноту квартиры.

В доме стояла тишина. Романов нащупал выключатель в прихожей, распахнул дверь в комнату. Свет широкой полосой упал на пол, на стену, на окно. Форточка была открыта. Цепляясь за стену, под сквозняком шелестела, шлепала соломенная штора. Романов вошел в комнату, включил свет и огляделся. Несмело, боком, в дверь протиснулся беспризорник.

— Вот что, Антон, — спросил Романов, — так о каком портфеле говорил твой знакомый?

— Не знаю, — сказал Антон, — говорил — в столе лежит.

У окна стоял тяжелый, массивный стол, заваленный книгами, безделушками, бумагами.

Следователь раскрыл ящик. Стопкой лежали книги. Романов взял первую. Прочел на обложке: «Лощия Черноморского бассейна».

— Не то, — сказал он и, положив книгу, открыл второй ящик.

Под газетами лежал желтый кожаный портфель. Замки, медные, тяжелые, были закрыты. На широкой пластинке, прикрепленной посреди портфеля, было выгравировано: «За долгую и беспорочную службу». Число и подпись: «Парамонов».

— Хозяин подарил, — сказал Романов, пытаясь открыть замок. Но замок не поддавался.

— Давай я открою, — потянулся к портфелю Антон. — У меня это мигом.

Он взял портфель, вытащил из кармана какую-то проволочку и, сунув ее в замок, не спеша начал поворачивать. Замок щелкнул и открылся.

— Да, — сказал Романов, беря портфель, — потрепала тебя жизнь...

Антон сконфуженно посмотрел на Романова, но тот уже открыл портфель и, вытащив из него наган, сказал:

— Серьезные здесь люди живут...

Во втором отделении портфеля лежал распечатанный продолговатый почтовый конверт. Из конверта выпали аккуратно сложенные листки письма. Почерк был незнакомым.

В последних строчках капитана «Атланта» приглашали приехать погостить. Обратного адреса на конверте не было.

Следователь вернулся к столу и, положив наган и письмо в портфель, защелкнул замки.

— Так... — сказал он. — Что здесь еще интересного?

Если утром он располагал только письмами капитана «Атланта» и это была единственная возможность составить какое-то мнение о человеке, которого он никогда не видел, то теперь он был в его квартире, где все говорило о привычках капитана, образе жизни, желаниях, взглядах.

На стене висела большая карта Донского бассейна, Азовского моря, Черноморья. Два уютных кресла стояли у карты, на полу лежал ковер.

Следователь прошел в соседнюю комнату. Это была спальня. Капитан, наверное, жил один. Узкая деревянная кровать стояла у стены. Рядом — платяной шкаф. У окна небольшой столик, стулья. В кухне на столе громоздились бутылки из-под спиртного. Но и в кухне, и в спальне, и в гостиной было чисто, прибрано, как в корабельной каюте.

Следователь вернулся в гостиную и сел в кресло у карты.

Антон, разморенный теплом квартиры, навалившись грудью на стол, уснул, по-детски положив щеку на руку.

В широкий подлокотник кресла была вделана бронзовая пепельница. На краю ее лежали две недокуренные сигары и большой черный карандаш. Следователь взглянул на карту, потом на карандаш, и какая-то догадка шевельнулась в нем. Он встал и,

повернув лампу так, что она ярко высветила карту, взгляделся в голубые очертания Дона, Азовского моря, Керченского пролива. Цифры глубин тянулись вдоль фарватера Дона, чернели у отмелей Азовщины... От одной отметки к другой тянулся паутиный след черного карандаша. Он пролегал к Керченскому проливу и уходил в Черноморье, к нейтральным водам...

Отчетливо, с предельной ясностью Романов представил себе, как, уютно устроившись в креслах, сидят два человека и, покуривая, беседуют. Они говорят долго. Сигары горят медленно. Затем один из них встает и, едва касаясь карандашом карты, показывает путь корабля и вновь садится в кресло...

Было уже за полночь, когда следователь тронул за плечо Антона.

Антон испуганно встрепенулся и со сна забормотал торопливо:

— Я ничего... Я ничего не сделал.

— Пойдем, Антон, — как можно мягче сказал Романов.

— А... — потянулся Антон. — А мне приснилось, будто я в поезде качу и кондуктор меня поймал...

\* \* \*

Булыжная мостовая влажно блестела. Романов и Антон пересекали улицу и пошли в тени домов. Прохожих не было видно. Романов, глубоко засунув руки в карманы, шагал широко, и Антон едва-едва поспевал за ним. Романов молчал. Они прошли переулком, и впереди засветились редкие фонари. К ЧК надо было сворачивать направо. На перекрестке Романов остановился. Остановился и Антон и, подняв голову, вопросительно взглянул на следователя. Романов вдруг представил, как он отведет его в ЧК и сдаст дежурному.

«В дежурке, наверное, холодно, — подумал Романов, — а малец совсем замерз. Завтра его посадят в поезд и отправят в Кагальник; а там у него ни души — и опять пойдет мотаться по поездкам без куска хлеба...»

Ни слова не сказав, он повернул налево.

Дождь кончился. С Дона тянуло сырым ветром. До гостиницы было рукой подать. Они прошли под акациями, ронявшими на головы холодные капли с голых ветвей, и вышли на Таганрогский проспект. Гостиница глянула на них рядами уже темных окон. Но в подъезде горела лампочка, тускло светясь сквозь пыльные стеклянные двери.

Когда они вошли в вестибюль, с подоконника поднялся навстречу человек.

— Товарищ Романов, — сказал он, — а я вас по всему городу ищу. Из ЧК меня сюда направили.

Это был Ремизов.

— Новости есть, — пробасил он.

— Поднимемся ко мне, — сказал следователь.

Войдя в номер, Романов показал Антону на единственную кровать, сказал:



— Ложись, спи.

Антон удивленно посмотрел на него.

— А вы?

— Ложись, ложись, — сказал Романов, — я устроюсь.

Антон лег и сразу же уснул. Следовательно снял шинель и накрыл его.

Ремизов, молча наблюдавший, как Романов укладывал Антона, сказал, улыбнувшись:

— Только до подушки и дотянул...

— Малец, — сказал следовательно, — устал. Ему бы еще у мамки быть... А вот мотается...

— Бынишка? — спросил Ремизов.

— Нет, — просто ответил Романов, — беспризорник.

Он взглянул на спавшего Антона, повторил:

— Беспризорник... Сколько детей сейчас вот так мается! Уверен, что в ближайшее время этим займутся самым серьезным образом. Так дальше не может быть...

Накрыв шинелью Антона, следовательно сел к столу.

— Ну, так что за новости?

— Баркас с «Атланта» нашли, — сказал Ремизов. — Наш буксир с Азовщины пришел и привел его. Где-то около Синявок подобрал. Рыбаки сказали. Баркас целехонек, даже анкерок с водой под банкой лежал.

— Так... — сказал Романов. — Интересно...

— Я думаю вот что, — наморщил лоб Ремизов, — с «Атланта» они снялись и куда-то хотели путь держать. Но в тот день буря была и силенок выгрести у них не хватило. Ветер, между прочим, был с юга — их и понесло к Таганрогу. Но в Таганрог баркасом с «Атланта» идти не резон — сразу заметят, они и пристали у Синявок. Пешком от Синявок до Таганрога — рукой подать, да к тому же берегом не видно, кто идет да что... Так что искать их, думаю, надо в Таганроге.

— В Таганроге, — повторил Романов. — Говоришь, в Таганроге? Ладно.

Ремизов поднялся.

— Я уже час тебя, товарищ, жду, да вот проговорили еще. Побегу в порт. Два судна поставили под погрузку. Беспокоюсь. Люди с ног валяются. Если до ледостава не успеем грузы вывезти — труба... Бывай!

Он протянул Романову руку, застегнул бушлат и заторопился.

Следовательно вновь сел к столу. Достал из портфеля капитана «Атланта» конверт и вытащил письмо.

В коридорах не было слышно ни звука. Гостиница спала.

Романов перечитал письмо раз, затем еще... Хотелось есть.

Читая, Романов опустил руку в ящик стола, отыскивая хлеб. Но ящик был пуст, и рука, пройдя по чистому листу газеты, вернулась на стол.

«А почему письма, — подумал он, — отправленные капитаном «Атланта», оказались в столе? Они же должны были остаться у этих людей».

Романов поднялся, прошел по комнате, по привычке побарабанил пальцами по холодному стеклу. Ночь была черна. Начинался дождь. Ветер рванул на бульваре акации, бросил в окно желтые листья.

«Может быть, капитан «Атланта» не знал людей, которым писал письма, — ему были известны только адреса? А по приезде приглашенные капитаном предъявляли его письма как пароль, и они вновь оказались у него. Может быть, так, а может, и нет. Но если это так, то письмо, найденное в портфеле капитана, тоже пароль... Кто пригласил его в гости? Кому он должен предъявить письмо?»

Задача все больше и больше усложнялась. Возникали новые вопросы. Почему капитану или его людям так был нужен портфель с письмом? Почему они подвергали себя из-за этого письма риску? Или человек, которому нужно было предъявить письмо, тоже не знал капитана «Атланта»?

Только к утру следователь ненадолго уснул, устроившись на крохотном и шатком диване. Рана давала знать: в боку саднило, и, видимо, поднимался жар — губы сохли, хотелось пить.

Засыпая, он еще раз подумал об Антоне. Тот спал, чуть слышно посапывая. Романов не привык жить одиноко. Так сложилась жизнь, что всегда были вокруг него люди. На фронте, в казарме ли, в случайной ли хате, в окопе ли — постоянно рядом раздавались голоса, люди говорили, мечтали, спорили, готовились к бою или отдыхали после боев, но так или иначе кто-то живой находился рядом, и последнее время одинокое житье в гостинице Романова тяготило. То, что сейчас рядом он слышал дыхание пусть даже незнакомого человека, его радовало.

\* \* \*

Проснулся Романов от мягкого солнечного тепла, щекавшего лицо. Солнце поднялось, и его лучи, ворвавшись в комнату, упали на диван. Романов поднялся и, не мешкая, пошел умываться. Когда он вернулся, Антон уже встал, и Романов, передав ему мыло и полотенце, накинул шинель и спустился на первый этаж.

По утрам в коридоре первого этажа бывалолюдно. Весь гостиничный народ собирался здесь. Это были люди в гимнастерках, в шинелях, в бушлатах, в кожаных куртках. На первом этаже выдавали многочисленным командировочным и старым жильцам гостиницы утренний паек — осьмушку хлеба и половину вяленой воблы или горько-соленой селедки, иногда половину рыба. Народ подбирался в гостинице все больше здоровый, крепкозубый, которому и рыба и осьмушка хлеба были, как говорится, «на один укус», но уныния на первом этаже никогда не бывало. Громко раздавались голоса, гремели сапоги, слышались смех, шутки.

Антон ждал Романова. Позавтракали они быстро, запили воблу холодной водой, завернули портфель в старую газету и, спустившись на улицу, зашагали к вокзалу.

Антон шел впереди шагов на двадцать. Так они договорились еще в гостинице.

День был хорош. Так бывает в Ростове поздней осенью. Сегодня льет дождь, ветер гремит по крышам, низкие облака придавили город, и кажется, что это надолго, уже до холодов, до снега, а назавтра, смотришь, ушли облака, и бездонной голубизны небо распахнулось над городом, утих ветер, и словно вновь вернулись мягкие и теплые дни бабьего лета. Медленно летит и кружит в воздухе паутина.

Антон шагал по тротуару, довольно щуря глаза под солнцем.

Давно ему не было так хорошо — и сыт был, и выспался, и знал, что к вечеру будет у него над головой крыша. Для человека, который сейчас шел сзади него и внимательно следил за ним взглядом, Антон был готов сделать все, что бы тот ни приказал.

Так прошли они по Таганрогскому проспекту, свернули на Садовую, прошли один переулок, второй, спустились к Темеричке. Впереди загудел паровоз и смолк. Антон внимательно приглядывался к идущим навстречу людям. За переездом зарыбила пестрая привокзальная площадь.

Вокзал жил лихорадочной, нездоровой жизнью. Поезда отправлялись нерегулярно. Когда с перрону, отдуваясь, подходил длиннющий состав, сформированный и из пассажирских вагонов, и из товарных теплушек, и из каких-то фантастических горбатых вагончиков не то с немецкими, не то с венгерскими орлами, желтым намаляванными на стенах, привокзальная площадь поднималась разом и штурмом брала вокзальные ворота. Ни милиция, ни железнодорожники, замотанные бессонными ночами и неурядицами, — ничто не могло удержать людского потока. У вагонов разгорались жестокие схватки. Паровоз бессильно и жалобно гудел и трогался. Счастливы свисали с крыш, с торжеством восседали на буферах. Неудачники вновь возвращались на площадь, к привычной уже обстановке вокзального житья. На площади все что угодно можно было купить, обменять, продать.

Антон с портфелем под мышкой не спеша пробирался между вокзальным людом. Вертя головой, он все высматривал и высматривал знакомое лицо.

Прошло более полчаса, но к нему так никто и не подошел.

Романов, издали наблюдая за Антоном, подумал: «Не придут. Да, не придут...»

Антон тем временем поднялся на высокое вокзальное крыльцо и, сняв с портфеля скрывавшую его газету, прошелся вдоль крыльца раз, затем еще и еще... И вдруг кто-то закрыл Антона от Романова. Следователь мгновенно кинулся вперед. От Антона его отделяло шагов двадцать, но между ним и крыльцом стояло с десяток человек, своими мешками, узлами, чемоданами загромождавшими дорогу. Романов опрокинул чей-то мешок, толкнул какой-то котел, неизвестно как очутившийся здесь, и выскочил к крыльцу.

Дорогу Антону преграждал неуклюжий дядька с мешком на плече.

— Ты что, хлопчик, сигаешь, как жеребенок? — басил он.

— Вот тот, тот, — крикнул Антон, показывая Романову в толпу, — выхватил у меня портфель!

— От ворюги,— басил невозмутимый дядька,— у дитя тянуть! Романов нырнул в людскую круговертъ. Впереди, между возами, он успел увидеть человека, выхватившего портфель.

Антон остался где-то позади. Незнакомец, лавируя между горами мешков, тюков, чемоданов, то и дело заходя за телеги, быстро уходил к виадуку.

Поравнявшись с крайними возами, он задержался на мгновение и оглянулся. Романов остановился, скрытый телегой с узлами и чемоданами. У человека, вырвавшего из рук Антона портфель, было приметное продолговатое лицо, холеное, барское и злое. Взгляд его, ни на чем не задерживаясь, скользнул по толпе, человек повернулся и торопливо пошел к стоящей у тротуара пролетке.

Романов понял, что допустил сегодня вторую ошибку.

Кони с места взяли рысью. Романов с минуту смотрел вслед катившей к городу пролетке, затем решительно шагнул к какому-то парню, сгружавшему с телеги сундуки. В отворотах бушлата у парня голубели полоски морской тельняшки.



— Браток, — сказал следователь, — я из ЧК. Видишь, он, — Романов показал на трусившую по булыжному подъему пролетку, — уходит! Надо догнать!

Парень в бушлате от неожиданности растерянно взглянул на Романова, на пролетку, опять на Романова и, видно, только тогда понял, чего тот от него хочет.

— Кто он? — спросил парень.

— Контра, — сказал Романов, не ища других слов.

Пролетка уже скрылась за домами.

— Ах, гад! — поднялся парень. — Не уйдет! Маланья! — закричал он в толпу. — Маланья!

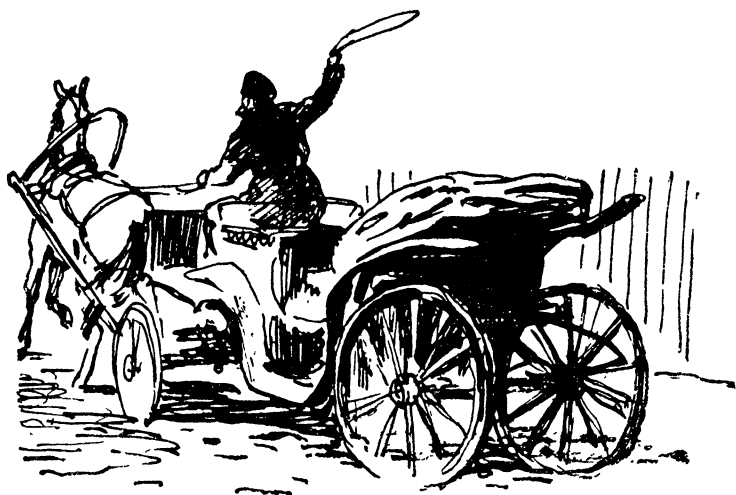
Из-за вozов вывернулась разбитная бабенка.

— Береги сундуки! — крикнул парень и развернул коней.

— Куда ты, скаженный? — закричала баба, но голос ее потонул в грохоте колес.

Парень хлестал коней.

Пролетку они догнали, когда та, миновав подъем, выехала на Большую Садовую и поворачивала в переулок.



Издали приметив ее, следователь сказал парню:

— Теперь шагом. Они не должны нас видеть.

Парень потянул вожжи, и кони мерно зацокали по мостовой.

— Я сам матрос, — говорил парень, — только три месяца как вернулся домой. Ногу мне зацепило осколком...

Он похлопал себя по искалеченной ноге. Следователь, слушая его вполуха, следил за пролеткой.

— Да ты не волнуйся, — сказал парень, — никуда он от нас не уйдет...

Пролетка, свернув в переулок, катила все дальше и дальше к окраине. Колеса дребезжали по булыжнику. Наконец пролетка стала.

Матрос тут же соскочил с телеги и, задирая морды коням, заорал:

— Ах, хвороба, дышло свернули!..

Человек, за которым следователь гнался с вокзала, вышел из пролетки и пошел к воротам.

Звякнуло кольцо в калитке, во дворе взбрыкнула собака, пролетка развернулась и покатила к центру города.

— Надо ждать, — сказал Романов.

Матрос оказался на редкость покладистым и сообразительным. Казалось, забыв о своей Маланье и брошенных сундуках, он снял дышло, достал из передка телеги какие-то инструменты и с озабоченным видом пристроился на камне у обочины.

Романов, тоже присев на край все еще зеленевшей травой канавы и односложно отвечая на вопросы парня, внимательно приглядывался к дому.

Домик был небольшой, самый обычный, каких немало строили в те годы на окраинах Ростова. Сад — десятка полтора яблонь, груш и вишен, летняя кухня во дворе, сарай. За сараями желтел поздним листом виноградник. Забор был невысоким, и весь двор, и сад, и виноградник видны были как на ладони.

Прошло с полчаса. Из дома никто не выходил. Только собака уныло бродила около крыльца, и, наконец, сомлев от жары, ушла к сараям, и улеглась, устроившись, в тени.

— Что будем делать, товарищ? — подсел матрос к следователю, вытирая измазанные дегтем ладони пучком травы.

— Зайди-ка ты в дом, — сказал Романов, — и спроси что-нибудь. Приглядишься...

Матрос поднялся.

— Это дело, а то что ждать...

Он прошел к калитке и, распахнув ее, шагнул к крыльцу. Собака, сморенная жарой, даже не тявкнула.

Романов видел, как матрос стукнул в дверь раз и другой, но дверь не открылась. Тогда матрос, подождав минуту, уже основательно взялся за ручку. Дверь отворилась, и матрос, что-то сказав, шагнул в сени.

Он отсутствовал минут пять, затем дверь вновь растворилась, и он вышел во двор. У сарая поднялась собака. Матрос невозмутимо прошагал к калитке, вышел на дорогу и, зайдя за телегу так, что его никак нельзя было увидеть из окон злополучного



домишка, заговорщически подмигнул следователю. Романов поднялся и подошел к нему, все же искоса наблюдая за домом.

— Растерялся хозяин, — торопливо зашептал матрос, — растерялся... замешкался... И не хозяин он вообще... Я спросил пробой — сказал, оковка с дышла сорвалась, надо новое ушко пробить... «Нет, — говорит, — ничего, помочь не могу...» Так у хозяев не бывает. Может, какой другой от жадности по хозяйству и не поможет, но уж раз телега на дороге стала, то возчик возчику всегда помощь окажет — это закон. Чужой он человек, и речь чужая, и повадки... Чужой... — И спросил: — Что будем делать?

Натура его требовала действия.

— Вот что, — сказал следователь, — на тебе записку... — Он чиркнул несколько слов на бумаге. — ...И иди в ЧК, отдашь дежурному, а я пока здесь побуду.

Матрос сунул записку в карман и зашагал, пыля клешем.

Романов обошел телегу, отпряг коней, огладил и пустил к траве на обочину.

В доме напротив по-прежнему было тихо. Собака, позевывая, сидела на крыльце.

Романов лег на траву и закинул руки за голову. Облака медленно плыли в осеннем небе. Кони похрустывали подорожником.

«Видно, нужно им это письмо, — думал Романов. — Ох, нужно!»

Он припомнил, как кинулся этот человек в толпу, как шел, пригибаясь, меж возов и вынырнул неожиданно к пролетке.

«Побеспокоился заранее пролеточку подогнать, — думал Романов, — все предусмотрел. Видно, печет. Печет...»

Кони пофыркивали. Время потянулось томительно.

\* \* \*

Подходя к зданию ЧК, Романов еще издали увидел светлые вихры Антона, маячившего на ступеньках у подъезда. Антон разговаривал с часовым. Часовой, увидев подходившего следователя, что-то сказал пацану. Тот кубарем скатился со ступенек.

— А я вас ищу, ищу... — заторопился он.

— Ты не ел, наверное? — спросил Романов. — Вот тебе ключ от номера в гостинице, получишь за меня паек, поешь и жди меня дома... Понял?

Антон хотел что-то возразить, но Романов сказал:

— Иди, времени у меня в обрез. А если поздно вернусь, укладывайся спать без меня.

Из подъезда вышла группа красноармейцев и начала строиться в колонну.

— Давай — одна нога здесь, другая — там, — еще раз сказал Антону Романов и пошел к дверям.

Часовой посторонился, пропуская его в ЧК.

Поднявшись к себе в кабинет, следователь прежде всего позвонил в порт Ремизову. Телефон гудел сиплыми сигналами,

хрипел, но порт не отвечал. Романов раз двадцать крутнул ручку, и, наконец, чей-то замирающий вдали голос ответил:

— Река слушает...

— Мне Ремизова, — сказал следователь.

— Нет Ремизова, — ответил голос и стих, растворился в треске и хрипе проводов.

— Ремизова, Ремизова, — повторил следователь, — разыщите и скажите, что звонил Романов, пускай срочно приедет в ЧК. Очень важно.

Голос чуть оживился. Ответил:

— Хорошо.

Ожидая Ремизова, Романов прошел к дежурному, узнал, когда приедет начальник Дончека. Скорятина ждала часа через два.

«Этo хорошо, — подумал следователь. — К этому времени я многое успею выяснить».

У дома на окраине остались два товарища, присланные дежурным.

Романов мог не волноваться — оттуда и муха не вылетит незамеченной, — и все же ему было беспокойно. Ему казалось, что он сделал что-то не так и не то. А ошибаться он не имел права.

Романов вновь с ожесточением начал крутить ручку телефона. Но ему по-прежнему ответили, что Ремизова еще нет.

Люди, с которыми он боролся, торопились. Это следователь отчетливо понял.

Убийство на «Атланте» произошло двое суток назад. Баркас обнаружили у Таганрога. Вчера вечером помощник капитана «Атланта» был в Ростовском порту. Затем сегодняшний случай с портфелем. Да, они торопились. Он был убежден в этом. Торопились, но действовали обдуманно и методично.

«Нет преступлений нераскрываемых, — вспомнил следователь слова, часто повторяемые начальником Дончека, — есть преступления еще не раскрытые. И надо помнить, что успех в раскрытии преступления во многом зависит от нашей оперативности».

Следователь взглянул на часы. Прошел час, как он вернулся в ЧК. Ремизова все не было.

Романов еще раз позвонил в порт.

Уже знакомый, чуть слышный голос ответил, что Ремизов ушел в ЧК.

Следователь положил трубку, и в это время в дверь постучали.

Это был Ремизов. И куртка, и брюки, и сапоги его были белы от муки. И можно было, не спрашивая, сказать, чем гружен пароход, который он только что отправил.

«Дергаю я его, — подумал Романов, — а ведь у него и своих дел невпроворот».

Ремизов сел к столу, и стул под ним жалобно заскрипел. Словно поняв мысли следователя, Ремизов сказал:

— Видишь, какой я здоровый, мебель не выдерживает — жалуется. Вторые сутки на ногах, жена шумит: «Свалишься!..» Но ничего, выдюжим, надо выдюжить!.. Да, как твоя рана?

— Ничего, — сказал Романов, — подживает. День-другой — и сниму повязку.

— Добре... Живуч ты... Так говори, зачем позвал.

— Опиши мне, — сказал Романов, — как выглядит помощник капитана «Атланта».

Ремизов подумал минуту, сказал:

— Высокий, поджарый, смуглолицый... Хваткий такой мужчина... Молодой еще...

И, вдруг вспомнив, добавил:

— Да, у него есть заметная примета — припадает он слегка на одну ногу. Видать, ранен в прошлом был.

Помощник капитана «Атланта» не был похож на человека из домика на окраине.

— Понятно, — сказал следователь, — а нет ли в команде «Атланта»...

И он как можно подробнее описал того, кто утром вырвал портфель у Антона.

— Не помню, — сказал Ремизов, — нет, не помню.

Романов встал, прошелся по комнате, зябко запахнул шинель. Ремизов, взглянув на него, неожиданно спросил:

— А ты ел что-нибудь сегодня, товарищ?

И, не дожидаясь ответа, вытащил из кармана воблу и ломоть хлеба.

— В порту что только не грузим! И рыбу, и мясо, и хлеб. Вчера масло грузили. А самим жрать нечего.

— То для Москвы и Питера, там еще хуже...

— Знаю, — сказал Ремизов. — Вот здесь, — он постучал себя пальцем по лбу, — все ясно. Но придешь домой — детишки глядят голодными зверьками, а от тебя запах, хоть режь ножом — и на сковородку.

— Да, — ответил Романов, — нелегко...

— Куда уж там! Ну ладно, это все разговоры. Давай о деле. Грызя воблу, следователь спросил:

— Сегодня, завтра или в ближайшее время из Таганрога не выходит какое-нибудь судно на Кавказ?

Ремизов подумал, сказал:

— Завтра нет, но вот на рассвете послезавтра идет одно судно.

Романов отложил воблу.

— А кто капитан?

— Капитан из старых, — ответил Ремизов.

— Ну и что он за человек, надежный?

— Как тебе сказать... Служить он нам служит, но вот насчет надежности... Два элеватора имел он до революции... Человек не нашей руки...

— Так... — протянул следователь. — Понятно...

— Что ты задумал? — спросил Ремизов.

— Сейчас узнаешь, — ответил Романов и вышел.

Он вернулся через несколько минут. Сказал:

— Пойдем. Начальник Дончека приехал.

Когда они вошли в кабинет Скорятина, тот стоял у белевшей во всю стену карты Донской области. Повернувшись на скрип дверей, он поздоровался и, прихрамывая, пошел к столу.

— Это товарищ Ремизов, — сказал следователь, — из портового комитета. Коммунист.

Начальник Дончека еще раз кивнул Ремизову и, устало положив руки на стол, помолчал. Затем сказал:

— Погиб сегодня начальник охранного эскадрона. Боевой мой товарищ... В бою погиб...

Помолчали.

— Что у вас? — спросил Скорятин.

Следователь рассказал о письмах, найденных у капитана «Атланта», о составе команды, о портфеле, о письме на имя капитана, о проложенном на карте маршруте, о судне, которое послезавтра должно выйти из Таганрога.

— Я думаю так, — сказал он, — они хотели угнать «Атлант» за границу. Этого им не удалось, тогда они сделали ставку на второе судно.

— Логично, — сказал Скорятин, — а что с этим субъектом с окраины?

— Надо его брать, — отрезал Романов, — арестуем немедленно.

— Нет, — сказал Скорятин. — У нас пока есть время. Подождем до рассвета. Может быть, он здесь не один. Если же к нему никто не явится, на рассвете арестуем. А вот насчет Таганрога надо подумать. Угнать судно не так-то просто. Такое готовят заранее...

Скорятин повернулся к Ремизову.

— А ты как, товарищ, думаешь?

Ремизов чуть кашлянул в кулак, прочищая горло, и, навалившись широченной грудью на край стола, сказал:

— Насчет того, что трудно, — это точно, но уж больно все концы сходятся. Я считаю...

\* \* \*

Антон терпеливо и долго ждал Романова. Гостиница заснула не сразу. До полуночи гремели шаги в коридорах, раздавались голоса, потом шаги стали реже, голоса приглушеннее, и, наконец, все смолкло.

Изредка внизу, в вестибюле, хлопала дверь, но потом и ее не стало слышно. А он все ждал.

Разные думы приходили к Антону. Он мечтал, как будет хорошо, если он навсегда останется жить с Романовым. Будет ждать его вот так вечерами, вымоет комнату, будет ходить за пайком, а позже и сам начнет работать в ЧК. С этими мечтами он и уснул. Романов в эту ночь домой не пришел.

Рассвет долго зрел за Доном. Наконец пополз по улицам парной туман: белый, клубящийся, и сразу же вспыхнул у горизонта первый багряный луч.

— Пойдем, — поднялся следователь и шагнул от плетня на дорогу. Мягкая пыль заглушала шаги.

Подойдя к калитке, он взялся за влажное от росы кольцо, и тут же от сарая бросилась, задыхаясь в лае, собака.

Кто-то из красноармейцев перехватил ее и, свалив, прижал к земле. Ремизов шагнул к дверям, навалился всем телом. Косыки затрещали.

Когда следователь вбежал в комнату, хозяин, полуодетый, рвал оконную раму. Рама не поддавалась.

— Спокойно, — негромко сказал Романов.

Хозяин повернулся, лицо у него дрожало.

— Спокойно, — повторил Романов. — Вы арестованы.

Пока арестованный одевался, к дому подкатила телега.

— Эй! — закричал с телеги возчик. — Хозяин!

Один из красноармейцев вышел к нему.

— Что тебе, дядька?

— Да вот сосед подрядил свезти его в Таганрог, — сказал возчик, слезая с телеги.

На голоса вышел Ремизов. Толкнул калитку. Дядька возился в телеге, перекладывая мешки.

— Здорово живешь, — подходя, сказал Ремизов.

— Здорово, коли не шутишь, — покосился возчик.

— Так куда подрядил тебя сосед? — спросил Ремизов.

— До Таганрога.

— А который сосед?

— Да вот тутошний, приезжий человек.

Романов, стоя у окна и не сводя глаз с арестованного, прислушивался к разговору.

У арестованного тряслись руки, и он никак не мог застегнуть пуговицы.

«А на расчет ты жидковат, — подумал Романов, глядя на эти прыгающие руки. — Все вы такие. Гонору барского, спеси — полный короб, а к ответу стройся — голубая кровь не выдерживает».

— Давайте поживей собираться, — сказал он, — тянуть нечего.

— Мы вас слушаем, — сказал начальник Дончека.

— Я хочу выслушать вас, — ответил арестованный. — На каком основании я подвергнут аресту?

Видно было, что он успокоился, и лицо его, как прежде, было надменным, холеным и злым.

— Кто вы? — спросил Скорятин.

— Вам уже известно. Я приезжий из Петрограда.

— Чем вы занимались в Петрограде?

— Служил в частной конторе.

— А это не ваше? — спросил начальник Дончека, поднимая со стола найденное при обыске офицерское удостоверение.

— До революции я был офицером. Но сложил оружие, и Советская власть гарантировала мне свободу.

— Да, — сказал Скорятин. — Советская власть гарантировала свободу тем, кто сложил оружие...

— Вы знаете капитана парохода «Атлант»? — задал вопрос Романов.

— Мне неизвестен не только капитан, но и этот пароход.

— Вы говорите, что сложили оружие и что не знаете капитана «Атланта», — сказал Романов, — а, между прочим, в квартире этого капитана обнаружен наган, номер которого совпадает с номером, указанным в вашем офицерском удостоверении. И зачем вам понадобился портфель капитана, которым вы завладели на вокзале? Скажете, что это не ваш? Тогда почему в нем лежало письмо на имя Отто Опица?

Романов поднялся, лицо его стало жестким.

— Давайте договоримся: не нужно валять дурака. Вчера в бою с бандой погибли пятеро наших бойцов во главе с командиром. Вы интеллигентно выражаетесь, а бой ведете с нами беспощадный, жестокий и все ищете место, куда побольнее ударить. Для чего вы собираетесь в Таганрог?

Офицер удивленно поднял глаза.

У Романова круто обозначились скулы.



— Не смотрите на меня с удивлением. Зачем телегу наняли до Таганрога?

Офицер опустил голову и сдавленно произнес:

— Меня ждут в Таганроге.

— Кто?

— Капитан «Атланта».

— Адрес?

— Гимназическая улица, дом три.

Лицо офицера исказилось.

— Меня расстреляют? — спросил он дрогнувшим голосом.

— Вас будет судить трибунал, — ответил Романов.

— Боже мой, — поднялся офицер, сжав руками голову, — в какую я влез авантюру!..

Он шагнул к столу.

— Я боевой офицер и честно воевал с немцами. Меня просто втянули в это безнадёжное дело.

— Вы не ребенок, — сказал Скорятин, — за ручку водить не надо, тем более если вы боевой офицер. Так вернемся к тому, с чего мы начинали разговор. Мы вас слушаем...

\* \* \*

Через час из ворот здания ЧК выехал отряд в десяток всадников. Прогрел по булыжникам Большой Садовой, отряд свернул на Таганрогский проспект и, горяча коней, пошел рысью.



Солнце уже разогнало туман и поднялось над домами, но улицы были еще безлюдны. День только начинался.

Утро было прохладным, и кони шли легко, но следовательно знал, что им предстоит переход в семьдесят верст, и придер-живал удила. Они миновали Скобелевскую, вышли к Ростов-Горе, их взгляду открылась степь.

Кони сами перешли на жесткую, но экономную, позволяю-щую легко проскакать многие версты казачью рысь, и Романов отпустил удила. Конь под ним мягко заржал и ходко пошел вперед.

Под солнцем степь зазеленела, запушилась донником, закра-совалась редкими уже, но все еще ярко вспыхивающими то тут, то там поздними тюльпанами. Казалось, что вновь вернулось степное бабье лето.

Отряд прошел верст пять, и кони начали потеть. Романов придержал своего бегуна, и отряд сменил шаг.

— Пойдем шибче! — догоняя Романова, крикнул Реми-зов.

— Нет, — ответил Романов, на ходу поправляя расстегнув-шийся подсумок, — коней пожалеем, еще скакать долго.

Ремизов чуть отстал, и опять поскакали молча.

Романов уже обдумал, как они будут арестовывать капита-на «Атланта» и его людей, знал, что в Таганроге они разде-лятся на две группы. Второй группой будет командовать Реми-зов. С двумя красноармейцами он отправится в порт и аре-стует капитана судна, отплывающего в Новороссийск. Команду над судном Ремизов возьмет на себя и сам поведет его в рейс.

Решив все, он уже не возвращался к этому. Он думал о командире эскадрона, давнем боевом друге начальника Дон-чека, погибшем два дня назад в бою. Думал о многих друзьях и товарищах, которых потерял он за годы гражданской войны под бесчисленными холмами.

Думал о трудной дороге, которую избрали и они и он, и знал, что пройдет ее до конца, как бы она ни была трудна.

Кони ходко шли к Таганрогу.

У Пятихаток Романов решил сделать привал. Остановились, спешились. Ремизов, один из красноармейцев и молчавший всю дорогу арестованный офицер повели коней к пруду.

— Выводите их хорошенько, прежде чем поить! — крикнул вслед Романов и, разминая ноги, пошел по хрупкой траве к колодцу.

У колодца красноармейцы, уже напившись ледяной воды, балагурили, смеялись. Солнце светило ярко.

Романов зачерпнул полную кружку. Зубы заныли. Вода была чуть солоноватой, но пилась легко.

— А офицерик-то наш, — смеясь, сказал рябоватый крас-ноармеец, — вроде своим стал.

От колодца хорошо было видно, как Ремизов, офицер и молодой красноармеец вываживали на лугу коней.

Офицер вел на длинном поводке четверку, и рыжий большой жеребец все время пытался подняться на дыбы. Офицер уко-ротил повод и огладил его. Жеребец успокоился.



«А ведь он врет,— подумал вдруг Романов, — что из Питера. Коней водит по-донскому».

— Пойди, — сказал он рябоватому красноармейцу, — заведи у него коней. А то он свой, свой, да как бы чем не удивил. Рябоватый уже без улыбки сказал:

— Это точно...

И пошел к лугу.

Офицер передал ему коней и, поднявшись к колодцу, нерешительно остановился чуть поодаль от группы красноармейцев.

— Водички-то испейте, господин офицер, — сказал ему Романов.

Офицер подошел к колодцу. Заглянул в бадью. Она была пуста. Ухватисто подхватив цепь, офицер кинул бадью в черную глубину, зачерпнул воды и, сильно работая руками, так, что заходили под курткой лопатки, потянул бадью вверх.

«Точно, врет, — подумал Романов, — он донской, ишь как орудует. Этому в Питере не научишься. Это с детства видеть надо».

Офицер пил маленькими глотками, поверх кружки поглядывая на пруд, на коней, на уходящую вдаль дорогу.

«И фамилия у него уж больно донская, — все сомневался следователь, — Запечнов...»

Он вспомнил, что был у них в полку сотник Запечнов. В сотне у Запечного служил дружок Романова, Янченко. Говорил не раз: «Земляк мне Запечнов, а собака, ничего не спустит».

«Из Семикаракор они, — припоминал Романов, — или из Константиновки? Но донские, точно... Нет, врет офицер!»

Офицер поставил кружку на край колодца.

— Садитесь, Запечнов, — сказал следователь, — покурим.

— Спасибо, — ответил офицер и присел в тени, пристроившись на камне.

Романов протянул ему кисет и бумагу. Тот завернул сигарку. Потянулся прикурить. Романов зажег спичку, сказал:

— Коней вы, видать, любите. Приглядывался я, как вы вываживали.

— Да, вы правы, коней я люблю, — ответил офицер, выпуская дым. Щуря глаза, он смотрел куда-то вдаль.

— Жеребец, рыжий, — лениво продолжал Романов размолившийся на солнце, — наверное, понравился? Оглаживали вы его уж больно любовно...

— Жеребец славный, — сказал офицер, — бабки высокие, грудь сильная — правда, зажил немного да, кажется, чуть засекается на ходу. Подковали, видать, плохо...

«Все врет, — теперь уже твердо решил следователь, — донской он. Ну да ладно, посмотрим, кто кого...»

Подошел Ремизов. Коней уже напоили. Можно было трогаться.

— По коням, — негромко сказал Романов, поднимаясь от колодца.

Красноармейцы стали садиться в седла.

Романов чуть отвел своего бегуна в сторонку, мигнул стоявшему у яблони красноармейцу. Поднявшись в седло, тот тронул коня и шагом подъехал к Романову.

Поставив ногу в стремя, Романов шепнул:

— Въедем в Таганрог — глаз не спускай с офицера, держи как на вожжах...

Романов давно знал этого красноармейца. Фамилия его была Воронов. Конник он был старый, от такого не уйдешь. Догонит.

— Понял, Воронов?

— Ясно, — сказал тот.

— По двое рысью! — дал команду Романов и пустил коня вперед.

Отдохнувшие кони пошли резво.

А через час набежала тучка и потянуло свежим ветром. Начавшие опять было потеть кони подсохли и, став на хорошую ногу, потянули ровно и уходисто.

Миновали небольшое селение Самбек; теперь уже до Таганрога было рукой подать. Верст пятнадцать, не больше.

Романов вышел из головы отряда и, махнув Ремизову, пропустил конников вперед. Ремизов тоже приотстал.

Пристроившись в хвост отряда, Романов наклонился с седла к Ремизову.

— Значит, как договорились, — сказал он, — въедем в Таганрог, ты берешь двоих — и в порт. Сам приглядишься, что и как...

Конь, сбиваясь с ходу, пошел боком. Романов выровнял коня, договорил:

— Я буду в ЧК... Смотаюсь только на Гимназическую и вернусь. В порту будь аккуратнее... Вспугнуть их ни-ни... Мне кажется, что здесь дело посложнее, чем мы думали... Не нравятся мне офицеры: хитрит он что-то...

Романов послал коня рысью.

Дорога между тем потянулась на подъем. Кони пошли тяжелей. Но следовательно теперь торопил отряд. И все же, когда они поднялись из балочки, он понял, что коням еще раз надо дать отдохнуть.

«Вот до тех деревьев дотянем, — подумал следовательно, разглядев впереди одиноко стоящий среди чахлах деревьев домишко, — и станем».

Привал занял минут двадцать. Через час Ремизов, вспомнив эти двадцать минут, выругался и зло плюнул под ноги.

Последние версты перед Таганрогом отряд прошел, торопя коней. У коней запали бока, мыльная пена полосами проступила на спинах, легла вдоль ремней. Переход был не легким.

Когда впереди показались первые дома Таганрога, Романов перевел бегуна на шаг, и отряд не спеша въехал в улицу.

Время было тревожное, и никто бы, наверное, и так не об-

ратил внимания на десяток вооруженных всадников, но все же следователь придержал отряд. Успокоившись было за успех операции в начале перехода, он теперь отчего-то тревожился и хотел избежать всяких случайностей.

На улицах Таганрога еще угадывались недавние бои. В двух-трех местах отряду встретилась развороченная гранатами мостовая, стены многих домов были посечены пулями, витрины в лавках разбиты.

Над центральной улицей пламенел протянутый между двумя фонарными столбами алым стягом плакат. Огромными, неровными буквами на нем было выведено: «!!!Вся власть Советам!!!»

Восклицательные знаки, начинавшие и заканчивавшие строку плаката, словно штыками, прикалывали эти слова к таганрогскому небу.

У бывшей городской думы Романов остановил отряд. Ремизов с двумя красноармейцами, не задерживаясь, проехал дальше, к порту.

Ремизов хорошо знал Таганрог. Отец его был грузчиком Таганрогского порта. Мальчишкой Ремизов бегал по этим улицам, и знаком ему был в Таганроге каждый камень.

На центральную улицу, правда, мальчишки попадали редко. Гуляла здесь «чистая публика». Под кружевными зонтиками выплывали таганрогские купчихи, блестело золотом форменных курток корабельное и портовое начальство. Полицейские на центральной улице были злы и гнали пацанов, едва увидев. Зная город, Ремизов свернул с центральной улицы, намереваясь проехать к порту кратчайшим путем. Они проскакали по переулку, свернули еще раз, прогремели по булыжной мостовой, еще раз свернули и выскочили на горку, к спуску в порт.

С горки открывался широкий вид на море. Порт лежал перед глазами как на ладони.

Не осаживая коня, Ремизов окинул взглядом причалы.

Золотой волной играло под солнцем море, слепило глаза. Конь, скользя подковами по брусчатке и приседая на задние ноги, свернул на спуск.

Ремизов искал у причалов судно, которое должно было идти в Новороссийск. Блестело море, темнели пакгаузы, черной полосой протянулся причал.

Ремизов отлично знал приметный силуэт судна. Чуть осевшее на корму однотрубное тяжелое судно знакомо было ему уже много лет. Вытягивая шею, он вглядывался вперед, уже понимая, но еще не веря, что судна в порту нет.

Кони скатились со спуска и внамет в пене вынесли всадников к воротам порта.

Ремизов соскочил с коня и влетел в ворота.

— Где судно? — Он назвал имя идущего в Новороссийск парохода.

Портовый сторож невозмутимо взглянул на него и, непонятно отчего взъерявшись, сказал:

— Где? Где? Ушло...  
— Как «ушло»?  
— Как положено, — сказал сторож и отвернулся.  
Ремизов кинулся к конторе.  
— А ты куда? — крикнул ему вслед сторож.  
Но Ремизов не ответил.  
— Скаженный народ, — развел руками сторож, неизвестно к кому обращаясь. — Скаженный народ!

\* \* \*

Еще ничего не зная о том, что судно ушло, Романов повернул отряд с центральной улицы и проулком повел к зданию городской ЧК.

Таганрогская ЧК расположилась в старом, просторном купеческом особняке с конюшнями во дворе, с огромным двором.

Спешившись, Романов по скрипучей лесенке галереи пошел на второй этаж к начальнику городской ЧК.

Поднимаясь по лестнице, он слышал голоса своих красноармейцев, располагавшихся на просторной веранде первого этажа.

— Романов, здорово! — поднялся ему навстречу из-за стола начальник городской ЧК Тарасов, его давний знакомый. — Садись. Опять у нас в городе банда шалит.

Он показал на лежащую на столе карту.

— Видишь, черным отмечено. Здесь были, здесь, здесь... Но я подметил одну закономерность. Сегодня, думаю, мы их прихлопнем.

Он шлепнул ладонью по карте, словно прикрыл муху.

— И не будет!

Засмеялся, обнажая ровную подковку зубов.

— Ты что, к нам?

— Да, вот все с «Атлантом».

Понизив голос, Романов рассказал начальнику Таганрогской ЧК о последних событиях. Тарасов слушал его внимательно. На лбу у него обозначилась глубокая морщина, и вдруг стало видно, что лицо у него серое, невыспавшееся, голодное. Лицо человека, который давно уже не ел досыта, не спал вволю и успел забыть, что такое отдых.

— Ремизов сейчас поехал в порт, — сказал Романов. — При нужде арестует капитана судна, что завтра на рассвете идет в Новороссийск.

— Что? — неожиданно перебил его Тарасов. — В Новороссийск? Так оно уже ушло.

Романов, роняя стул, поднялся.

— Как?..

Тарасов, поднимаясь за ним, сказал:

— Ушло. Час назад, я сам был на причале...

\* \* \*

В это же время Ремизов, разыскав начальника Таганрогского порта, гремел во всю силу своего недюжинного баса:

— Где судно, что идет в Новороссийск? Почему оно ушло сегодня?

Начальник Таганрогского порта выслушал его, обескураживающе улыбнулся белозубой улыбкой, сказал:

— А ты что орешь, браток? Скажи — кто ты? Что случилось? А так мы не договоримся...

Ремизов осекся на полуслове и полез в карман за мандатом.

Через пять минут Ремизов и начальник порта, присев в тени, говорили уже спокойно.

— Я неделю как команду здесь, — сказал начальник порта, — окружком партии направил. Суда простаивали месяцами... А с твоим судном... Груз был в половинном комплекте. Часть здесь, а часть в Ейске. Людей свободных — ни одного. Краник, — начальник показал в даль причала, — вон видишь, единственный, и тот под погрузкой. От нас до Ейска угля судно сожжет на три копейки. А там люди сейчас простаивают. Судно они в Ейске загрузят, и оно вернется. Порожний рейс плевый, а во времени мы суток двое выиграем. Вот так... Сообщишь?

— Так, — сказал Ремизов, понимая уже, что этого парня, видно делового не по годам, надо не ругать, а хвалить. — ...А ты на судне был перед отплытием?

— Конечно, — сказал начальник порта, — сам грузил.

— Посторонних не заметил?

— Не понимаю.

— Ну, кто-нибудь, кроме команды, не ушел на судне?

— Не думаю, — сказал начальник порта. — А в чем дело?

Ремизов поднялся.

— Не могу я сейчас тебе многого сказать, товарищ... Но важно знать, ушел ли кто-нибудь с судном или нет.

— Наверяд ли, — повторил начальник порта, — не думаю. Я был и в трюме, и в капитанской каюте, и в рубке. Не думаю...

\* \* \*

Запечнов вошел в кабинет начальника Таганрогской ЧК и остановился у дверей. Тарасов сидел за столом. Романов стоял у окна. Помолчали. Пауза затягивалась. Наконец Романов сказал:

— Судно, Запечнов, ушло. Час назад. В пустой след нас привели?

Запечнов взглянул на Романова, на Тарасова, вновь на Романова, но промолчал.

— Так в пустой след?! — еще раз сказал Романов. — И вот что, Запечнов. Я недаром интересовался там, в Пятихатках, лю-

бите ли вы коней... Говорили вы, что росли в Питере, что батюшка ваш заведовал гимназией... Скажите, в какой гимназии вас научили, как правильно и как неправильно ковать коней?.. В каком Питере вы научились вываживать жеребцов?

Следователь сдерживал себя, но у него все клокотало внутри. Год назад он ходил в сабельную атаку. И вот такие же холеные барские лица видел он перед собой. В беге пластались кони, гремели выстрелы...

— Виляете, Запечнов, — сказал он, — мелко виляете. Шкодить умеете, а отвечать кишка тонка...

Романов на мгновение замолчал. Затем сказал:

— Приходилось, слышал, много болтаете вы, баре, об офицерской чести... Красивые слова... А когда к расчету строиться, как крысы лезете в нору...

У Запечнова дрогнул на щеке мускул. Запрыгала, задержалась бровь.

— Судно не могло уйти, — сказал он, — а если оно и ушло, капитан «Атланта» в Таганроге. Он ждет меня с письмом. Без этого письма он... Капитан в Таганроге, — повторил он уверенно.

— Кто писал письмо капитану? — быстро спросил следователь.

— Этого я не знаю! Честное слово, — заторопился офицер.

— Бросьте, Запечнов. Опять заговорили о чести! Видно, это у вас в поговорку вошло, для связи слов употребляете, — усмехнулся Романов. — Ладно. Пошли. На последнюю проверку пошли, господин офицер!

\* \* \*

С вечера крепкими засовами запирались в Таганроге подъезды домов, наглухо ставнями заставлялись окна.

Из Курска, Орла, Харькова, из многих-многих городов Центральной России вырвало и унесло дельцов всякого рода, проходимцев. Ехали в теплушках, на полках, под полками, на крышах, на тормозных площадках. Везли рвань и добро, прятали, скрывали... Торопились, спешили, а в Таганроге — стоп! Дальше не поедешь. Море. Черная пена оседала в приморских городах.

Двое шли по переулку. Ночь темна. Шли молча. Только сапоги стучали по мостовой. Перешли центральную улицу, свернули на Гимназическую. Прошли еще с квартал, остановились у дома. Ни одно окно не светило в старом купеческом особняке.

Тот, что был пониже ростом и поуже в плечах, шагнул к дверям и постучал легко, чуть слышно. Дверь сразу же открылась. За дверью, видно, ждали этого стука. На мостовую упал жиденький свет свечи, и дверь приотворилась. Лязгнул засов.

— Проходите, — сказал кто-то из полумрака коридора, — прямо и направо.

Тот, что стучал, шагнул первым. Сказал:

— У вас хоть глаз коли темно.

Ему не ответили. Дверь из комнаты распахнулась. И сразу стало светло. В комнате горела яркая лампа.

— Вы что, не один, Запечнов? — спросил уже другой голос, властный и требовательный.

И, еще не видя того, кто говорил, Романов подумал, что это и есть капитан «Атланта». Так мог говорить только тот, кто командовал.

— Это преданный нам человек, — сказал Запечнов. — В прошлом мой вестовой.

— Вы будете строго наказаны, сотник Запечнов, за нарушение дисциплины. Пройдите в комнату.

Дверь закрылась, и в коридоре вновь стало темно. Романов чуть переступил с ноги на ногу и сразу же услышал, как за спиной у дверей скрипнул под чьими-то сапогами пол.

«А у них не шуткуют, — подумал он, — не шуткуют. Надо держаться крепко».

За дверями в комнате слышны были голоса, но разобрать можно было только отдельные слова. Романов услышал, как капитан «Атланта» повторил несколько раз: «Ответственность... Генерал Улагай».

Голоса смолкли. Дверь распахнулась. Выглянул Запечнов, сказал:

— Зайди.

Войдя в комнату, Романов вскинул руку к козырьку.

— Здравия желаю, ваше благородие!

— Тихо! — растерянно сказал сидящий за столом полный, тяжелый человек с массивной лысеющей головой и оглянулся на заставленные ставнями окна. — Ну и глотка у тебя, братец.

«А ты не так-то и силен», — подумал вдруг Романов.

Вырвавшееся у капитана «Атланта» «тихо» как-то сразу успокоило его. Романов почувствовал себя легче и свободнее.

Он опустил руку от козырька, но остался стоять, как и прежде, вытянувшись в струнку.

— Сотник сообщил нам, — сказал капитан «Атланта», — что ты, братец, выразил желание последовать за ним в нашей борьбе...

— Так точно, — сказал Романов, — за господином сотником я готов в огонь и воду.

— Преданность — высокое качество души, — протянул капитан.

«А не валяет ли он дурака? — подумал Романов, неожиданно почувствовав в голосе капитана напряженность. — Шлепнут они меня сейчас мигом...»

Кроме сотника, стоящего в углу, у окон в комнате было еще четверо. Один сидел за столом, рядом с капитаном.

Двое о чем-то тихо переговаривались в дальнем конце комнаты. Романов внутренне подобрался, готовясь к прыжку.

«Чуть что, — пронеслась мысль, — одним ударом сбить лампу, а там, в темноте, еще повозимся...»

Капитан поднялся из-за стола.

— Хорошо, — сказал он, — подробно мы поговорим позже. Проводите его, сотник.

Запечнов шагнул от окна и толкнул дверь, но уже не в коридор, а в соседнюю комнату.

Четко повернувшись на стоптанных каблуках, Романов прошел через всю комнату, но в шаге от дверей остановился, гропуская вперед Запечнова.

«Черт его знает, — подумал он, — что в этой комнате!»

Запечнов шагнул первым. Романов заметил, что у того в едва приметной улыбке открылась полоска зубов.

«Все понимает», — подумал Романов и шагнул следом.

— Побудьте пока здесь, — сказал Запечнов и, не глядя на следователя, повернулся и вышел. В замке торчал ключ.

\* \* \*

Тарасов стоял, прислонившись к сырому и холодному стволу акации. Время, казалось, остановилось. В сотый раз он рассчитывал — вот они вошли в дом, прошли по коридору, вошли в комнату, какие-то вопросы, какие-то ответы, еще минута, еще, еще... Но условного сигнала не было. Он рассчитывал вновь. Вошли в дом... Прошли по коридору... вошли в комнату.

Метрономом стучали падающие с крыши в лужу капли. Оцепление вокруг дома давно замкнулось. Минута, вторая, третья... Тарасов чуть подался вперед, напрягая слух. Стучали капли. Темной громадой горбился дом.

Час назад, пожимая руку Романову, Тарасов сказал:

— Смотри, старик, осторожнее... К черту в пасть лезешь...

Романов только улыбнулся.

— Пробьемся...

Повернулся и зашагал по коридору.

Так они расстались.

Романов, стоя в незнакомой комнате, тоже считал минуты. Обошли дом... Остановились в саду... У окон... Кто-то остановился у подъезда... Минута, еще, еще...

Голоса за дверями то стихали совсем, то вдруг раздавались громче. И вновь он дважды услышал: «Улагай».

«Улагай, — подумал следователь. — При чем здесь генерал Улагай? Его десант из Крыма разбили на Кубани еще в начале сентября. Нет. Этих надо брать только живыми...»

Голоса за дверью стали слышнее.

Романов расстегнул крючок на шинели, вытащил из-за ремня наган, осторожно взвел курок.



Голоса вдруг притихли, но тут же раздались вновь.

Перед сабельным броском человек собирается в комок; серебряным горлом пропоет труба, и кони грянут оземь звоном копыт.

Ударом ноги Романов распахнул дверь, выстрелил в потолок.

— Руки на стол! — крикнул он.

Перед глазами мелькнули бледные пятна лиц, качнулась лампа, и в это же мгновение в дверь ударили чем-то тяжелым. Это Тарасов, едва шевельнув губами, дал команду «вперед!». Под плечом Ремизова замок хрястнул, и дверь распахнулась.

\* \* \*

Ремизов точно охарактеризовал капитана «Атланта» Отто Опица. Толстый его затылок был налит кровью, но глаза смотрели спокойно. Может быть, даже слишком спокойно. Этот не трусил и отлично понимал, что время поставило людей по двум сторонам баррикады. Или одни победят, или другие. Мира быть не могло.

Упершись короткими руками в толстые колени, Отто Опиц плевал словами:

— Революция? Это хаос. Мерзость.

Тарасов даже переменялся в лице, слушая его. Опиц повернулся к Романову, щеки его дрожали от негодования.

— Мой дальний родственник, романтический юноша, поверил в неверные идеалы. Он говорил: «Революция — это прекрасно». Сказать вам, как он погиб? Его застрелил пьяный матрос. Да, да!..

Он говорил и говорил... Он ниспровергал все, во что верили двое сидящих против него, он затапывал в грязь то, за что и Романов и Тарасов шли под огонь пулеметов, мерзли в степи, носили на теле рубцы и раны.

У Романова напряглись плечи. Но он не прерывал капитана «Атланта» — пусть скажет все, пусть выговорится! Жало у него вырвали, он только бьет хвостом, как гадюка под лопатой. Со словами надо обращаться осторожно, а сейчас капитан мог сказать и такое, что пригодится.

— Я честный человек, — говорил Опиц, — я хочу порядка. Вам понятно, что такое честный человек?

Романов перебил его:

— Вы говорите — честный человек? Это ложь. Вы хотели украсть судно, которое принадлежит Советской России. Государству. И убили человека.

Опиц замолчал. Запал его прошел. Он пожевал губами. Сказал невнятно:

— Да... да...

— Честный человек? Я не знаю, — Романов поднялся, — как погиб ваш дальний родственник и в какие идеалы он верил, но вы, кроме разговоров о чести, ничего не смогли

привести в свою защиту. Вы знаете, Опиц, мне приходилось видеть, как мародеры грабили магазин, тащили все — горшки и перилы. Разницы между вами и этими людьми я не вижу. Только вы откусили кусок больше и прожевать его не смогли.

Романов мог сказать много. Он немало повидал таких, как Опиц, и понимал, что за словами стояло одно — то, что он уложил в короткую фразу:

— Пальцы у вас, да и у других, таких, как вы, гнутся только к себе.

Романов вызвал часового. Сказал:

— Отведите его.

Опиц оглянулся в дверях. Взгляд его был растерянным.

Романов вновь сел к столу.

— Да, — сказал Тарасов, — это враг. Матерый...

— Матерый... — повторил Романов и замолчал.

Он вспомнил, как впервые приехал на «Атлант». Глинистый берег, дождь... У трапа, в машинном отделении, лежал убитый двумя выстрелами в грудь Александр Шевчук.

Теперь он знал, как это произошло на «Атланте».

\* \* \*

В тот день Отто Опиц отпустил Сашку на берег. Крикнул с мостика:

— Иди! Чтобы был к шести! В шесть отходим.

Наклонил голову, покопался в карманах и вдруг вытащил смятую бумажку, кинул Сашке.

— Можешь позволить себе...

Улыбнулся.

«Толстый черт, — подумал Сашка, — что-то подобрел сегодня».

И пошел вверх по узкой улочке, выходившей на Садовую.

Все утро хмурило, а во второй половине дня неожиданно разъяссело. Со всех причалов потянулся в город народ. Сашка затерялся среди людей на крутой улочке.

Вернулся он к отплытию судна. В голове чуть шумело. Был у кума. Выпили под свежеевыявленных рыбцов. Поговорили. Кум, грузчик с мельницы, все кричал: «Пришло время!..» — и, не договаривая, ронял голову в колючую рыбу шелуху. Через минуту он вновь поднимал голову, смотрел осоловелыми глазами и кричал: «Пришло время!..» — и опять ронял голову в рыбы хвосты.

Вернувшись, Сашка прошел в машинное отделение и прилег на урдуке, и уже было задремал, но его тронул за плечо новый кочегар, сказал:

— Отваливаем, капитан тебя требует.

Сашка нигде и никогда не учился, но от природы был он парнем сообразительным и корабельную машину знал до

последнего винтика. Когда старый механик однажды, сойдя на берег, не вернулся, Отто Опиц поставил Сашку на его место. По суровым временам лучшего было не найти, да и Сашка вполне справлялся с обязанностями механика.

Дали отвалный гудок, и судно отошло от причала. Все шло как обычно. Сашка выглянул на палубу. Над головой



медленно проплывал железнодорожный мост. Минут пять механик посидел на ступеньках, покурил. Капитан маячил в рубке. Механик спустился вниз, к машине, и вновь лег на рундук. Новый кочегар неловко орудовал лопатой.

«Так он долго не поработает», — подумал Сашка, глядя, как тот жал на лопату, вгоняя ее в уголь. Быстро темнело.

Механик поднялся, нащупал на стене рубильник и включил свет. Кочегар обернулся растерянно.

— Иди передохни на палубу. Я сам пошурю, — сказал механик и взял у кочегара лопату.

Сашка ухватисто набрал на лопату уголь и швырнул в топку. Не поворачиваясь, сказал:

— Надо работать только туловищем. На руки вес не бери, а то через час дух вон.

Он еще набрал угля и широко кинул в топку. Пламя занялось. Сашка, оглядываясь, спросил:

— Понял? — И только в эту минуту увидел, что кочегара нет. Тот ушел на палубу.

«Странный парень», — подумал механик. И вновь шагнул к угольной яме.

Он расшуровал котел, взглянул на манометр и, поставив лопату в угол, посидел у огня. Хмель прошел. Только казалось, что около машины душновато. По трапу загремели шаги. С палубы спустился кочегар. Механик поднялся, сказал:

— Ты посмотри здесь, я пойду посижу на ветерке.

Кочегар ничего не ответил.

«Молчун, — подумал Сашка. — Да что мне с ним, детей крестить? Рейс-два проходит и уйдет. По нему видно, не наш человек. Плечи жидковаты».

Сашка прогремел по трапу и, пройдя по палубе, сел, приклонившись спиной к переборке каюты капитана. Закурил. Ветер подхватил спичку, смахнул в Дон. Судно, забирая на волну, бежало ровно.

За спиной гудели два голоса. Но слов было не понять, да Сашка и не прислушивался. И вдруг он отчетливо разобрал:

— Да шлепнуть его — и конец!

Голос капитана ответил:

— А кто за машиной будет следить? Может быть, вы, поручик?

Сашка понял, что разговор идет о нем. И разговор крутой. Сонливость с него ветром сдуло. Он придавил окурки и пригнулся к переборке.

— Дойдем до места, там можно и распорядиться, — сказал капитан, — а пока, будьте любезны, придется уговаривать.

— Как же так получилось, — возразил тот, кого капитан называл поручиком, — можно же было заменить его?

— Кем прикажете заменить? — ответил капитан. — Господа офицеры в лучшем случае пригодны для того, чтобы держать лопату. Не более.

Второй настаивал.

— Но он поймет, что мы решили уйти, как только судно пройдет Керченский пролив.

Капитан ответил:

— Да, это он поймет. Он человек сообразительный.

— Что же делать?

— Поведет судно под пистолетом.

Сашка не стал больше слушать. Поднялся и, стараясь не греметь по палубе, шагнул к трюму.

Новый кочегар, стоя у топки, рассматривал в кровь стертые ладони. Удерживая волнение, Сашка сказал:

— Пойди опусти руки в холодную воду. Легче будет.

И взял лопату. Кочегар глянул на него искоса и, видимо, увидел, что Сашка изменился. А может быть, его выдал голос? Кочегар шагнул к трапу, не сводя с Сашки глаз, и боком юркнул вверх. Механик сгоряча гребанул уголь, швырнул в топку и бросил лопату.

«Так... — подумал. — Значит, меня к рыбам, а сами угонят судно... Так...»

И разом припомнил все — и то, что за неделю капитан полностью обновил команду, и то, что пришедшие люди никакого отношения к флоту не имеют, и мятые капитанские деньги, которые тот швырнул ему с мостика.

Из угольной ямы Сашка поднял лом. Повертел в руках. Подумал: «Что же делать? Ах, гады, за границу решили увести «Атлант»! И я хорош!.. Не догадался. Хотя слепой мог заметить...»

Но размышлять уже было поздно. По палубе загремели шаги. Сашка шагнул к трапу. В окне люка показалась грузная фигура капитана. Придерживаясь одной рукой за поручень, он тяжело спустился по ступенькам.

— Шевчук, — позвал он, — Шевчук...

Сашка растерянно оглянулся. Последняя мысль была: «Ухлопают меня и уведут «Атлант».

Сашка кинулся вперед и швырнул лом в шатуны...

\* \* \*

...Романов поднялся из-за стола. Сказал Тарасову:

— Ну ладно, браток. Поеду в Ростов.

В тот же вечер Романов доложил начальнику Дончека о том, что капитан «Атланта» и его группа арестованы.

— Никто не ранен? — спросил Скорятин.

— Нет, — ответил Романов, — обошлось.

— Ну вот и хорошо, — сказал начальник Дончека.

Романов вышел из кабинета.

Начальник Дончека поднял телефонную трубку. Поздними петухами пропели в трубке гудки. Было уже далеко за полночь.

— Да, — сказала телефонистка, — слушаю.

— Соедините меня с секретарем Донкома, — сказал Скорятин.

И вновь петухами пропели в трубке гудки.

— Слушаю, — ответил секретарь Донкома.

— Вы дали распоряжение сообщить немедленно о ходе расследования случая с «Атлантом».

— Да, — сказал секретарь Донкома.

— Капитан «Атланта» арестован. Установлен его корреспондент. Это один из недобитых сподвижников Улагая. Очевидно, вновь хотели собрать свои банды.

— Я жду вас через полчаса, — ответил секретарь.

Когда Скорятин спустился на первый этаж, Романов заворачивал на столе дежурного дневной паек — две селедки и кусок хлеба.

Они вышли вдвоем.  
— В Донком? — спросил Романов.

— Да, — ответил Скорятин, — в Донком. — И тут же добавил: — Я слышал — у вас сынишка объявился?

Романов помолчал минуту, затем сказал:

— Да.

Вышли к фонарю. Жиденький свет освещал мостовую. Скорятин полез в карман и, достав что-то, разжал ладонь. На ладони лежал обкатанный в табачные крошки кусок сахара.

— Возьмите, — сказал начальник Дончека.

Следователь улыбнулся.

— Давайте, ребенок все-таки...

Романов повернулся и пошел вверх по Таганрогскому проспекту. Начальник Дончека, глядя ему вслед, подумал: «В трудное время мы живем... В трудное время...» Запахнул шинель и зашагал по разбитой мостовой.

Дождь сменился снежной крупой. Когда Скорятин подходил к Донкому, мостовая была уже бела. Зима заходила над Доном.



Фото автора

Л. ШЕРСТЕННИКОВ

# НЕФТЯНОЙ КОРОЛЬ

Очерк

**А**лекое-далекое детство. Тихая, дремотная речка в ивниках. Красная от зорьки вода. Заки шлепает по облакам, стынущим в лужах, вышагивает за братом. В руках Закира — удилица, у Заки на ивовых прутиках — пятьдесят пять рыбок. А как же — добыча! В голодный сорок седьмой год даже детская забава была подспорьем семьи.

...Институт. Заки решил, что слабым буровику быть нельзя. Пропадешь. А тут еще ростом не вышел. «Ничего, наверстаю!» Главное — беспощадность к себе и жестокий спортивный режим. Гантели поднять — тысячу! Отжимания от пола —

---

*Публикуемый очерк взят из сборника документальных рассказов о лучших представителях советской молодежи «Звезды-1967», который выходит в издательстве «Молодая гвардия».*



пятьдесят! На практике в городе Октябрьском Ахмадишин по несколько раз взбегал на крутую гору. Потом с тяжелым рюкзаком — по полной туристской выкладке. Раз, два, три...

Ахмадишин начинал работать в Татарии, в Азиакаеве. Контора бурения была сложившейся, крепкой. Приехал после института, предстал перед директором. Головастый мужик, в бурении — волк, Курышев Николай Иванович, из Куйбышева. Глянул он на Заки, документы повертел и снова уставился, словно проверял.

— Ну, так-то. Рабочим пойдешь, помбуром?

Ахмадишин знал, что после института если не в канцелярию, то только помбуром и могут поначалу поставить.

— Пойду.

Четыре месяца помбурил, потом стал бурильщиком, а потом уж и мастером поставили, подменным. Контора крепкая была. Во всем Поволжье, Татарии, Башкирии знали бригаду Михайла Петровича Гриня. Здесь он Звезду Героя получил, и здесь его депутатом сколько раз избирали. В иные годы он давал свыше тридцати тысяч метров проходки. Юнкир Мухарметов тоже ставил рекорды бурения.

Заки правилось оставаться за мастера, практика — отличная, хоть и боязно бывало: как бы чужую скважину не загубить. А в бурении случаются и неожиданности: только что все шло нормально — глядишь, уже критический режим, а то и совсем аварией пахнет. То скважина раствор «глотнет» — разорвется пласт, и бурильный раствор, вместо того чтобы на дело идти, уходит в эту прореху. А раствор — деньги. Остановил бурение — инструмент может «прихватить». Застрянет колонка труб в скважине — зубами не вытащить. А то потянешь, оборвешь — и пропадет инструмент, да и всю скважину похоронишь: опять деньги.

Так вот, чтобы всего этого не произошло, нужно очень хорошо чувствовать, что происходит там, у тебя под ногами, на глубине, видеть сквозь землю. И Заки учился понимать «характер» инструмента и «нрав» стихийных сил природы, их постоянное взаимодействие и борьбу, становился подземным следопытом.

Так больше года подменял кого-либо Заки. И каждый день открывал для себя новое. Пришел к главному инженеру, сказал решительно: «Сколько по чужим дзорам ходить?» — «Все, — ответил тот. — Больше не придется. Новую бригаду организуем, ты ее и возьмешь».

В злополучную субботу 16 сентября попал Заки в автомо-



бильную катастрофу. Диагноз врачей звучал приговором: сильное сотрясение мозга, паралич левой стороны тела.

В сознание приходил медленно. Повсюду слышался неистребимый шум воды, казалось, льющейся из тысячи кранов, тугие толчки сердца, рождающие удары тупой боли в плечах, ключице, затылке... Бесконечная ярко-оранжевая лента неслась перед глазами, завихряясь радужными разводами при каждом толчке.

— Доктор...

Вспыхнули белые пятна ламп и провалились в черноту. Словно сотни тысяч иголок вонзились в голову и двинулись вдоль спины, разрывая позвоночник.

Глаза врача смотрят не мигая...

— Доктор... Неужели все?..

Сквозь какую-то странную, нерезкую пелену Заки видит заплаканные глаза жены.

— Ничего, Венера, — пытается он улыбнуться краешком рта. — Отлежаться, конечно, придется, сегодня, завтра, ну, еще денек, а в четверг на работу. Спешить надо — ведь мне обещали дать бригаду. Я уж попрощался со своей.

Больничную палату Заки покинул лишь через три месяца.

И неумолимая запись в справке: «Инвалид второй группы», и рецепт на долгие годы, а может быть, и навсегда: «Покой, покой и покой...»

Но разве можно списать по болезни из буровых мастеров того, кто хоть раз видел, как бьет фонтан маслянистой нефти и как в знак высшего признания заслуг мажут друг друга буровики этим «черным золотом»?

В тресте Заки работу подыскали быстро: инженер-технолог по Азнакаевской конторе бурения. Задачи нужные — изучение существующей технологии и внедрение более совершенных методов. Всем занимались — улучшали долота, изучали использование турбобуров. Проблем хватало.

Снова поиск, снова постижение искусства: взять у природы тщательно укрытые богатства наиболее эффективным способом.

Так Ахмадишян провел два года.

«Твоя перспектива — конторский служащий», — говорили знакомые.

«Нет, тысячу раз нет!» Лечение, массажи, тренировки... И опять лечение... И еще массажи...

Через полтора года себе он скажет: «Могу работать буровиком!»

Тогда уже много было известно о Тюмени, и Ахмадишин послал письмо в Сибирь. На ударной комсомольской ответили быстро: «Приезжайте, будете бурмастером Усть-Балыкской конторы».

Так у Заки появился новый адрес — Нефтьюганск.

В бригаду Ахмадишин попал уже пятым по счету мастером. Заросшая грязью, разболтанная буровая. Поджарый и хрупкий Заки казался совсем мальчишкой среди кражистых, широких в кости рабочих. И те, словно изучая, определяли нового мастера: надолго ли?..

Так тяжело, как здесь вначале, не было никогда. Заработки невысокие, план Усть-Балыкская контора выполняла редко.

Буровая Ахмадишина стояла на самом берегу Юганки. Метрах в ста несет свои ржавые воды река. Сто метров до буровой — жидкая грязь. Только настил плывет над черным жирным месивом. Сколько раз в день с буровой на буровую приходилось отмерять эти метры! Не хватает бурильного раствора, инструмент не весь подвезли... С зимы еще остались недовоенными трубы. Расстояние пустынное — полтора ста метров. Трое рабочих прыгнули на трактор и поплыли по месиву. Трубы, как намыленные, соскальзывают, выскакивают из стальной петли, забиваются грязью. Тракторишко поныхтел раз-другой, поскольку гусеницами и стал погружаться в трясину. В кабину хлынула грязь. А буровая проставает без труб, приостановился спуск колонны. Заки мечется по буровой. Трубоукладчик бы сейчас!.. И вдруг видит: идет этот самый трубоукладчик, крюк вокруг буровой дает. Побежал Заки наперерез. С буровой видно, как машет он руками, показывает, что куда подтащить надо. А парень с трубоукладчика, это тоже видно, выразительно пальцами мусолит: ваше дело — не мое; но если вы мне, то и я вам. Из другой он организации.

Сговорились — и к вечеру все трубы чистенькими лежали на настиле буровой. Побежал Заки в контору, работу оплачивать. А там статьи не находится, под которую можно труд «чужих» рабочих оплачивать. Друг и шепчет на ухо: «Вы, мол, меня временно зачислите, рассчитайте и увольте». Вспыхнул Заки, аж скулы побелели, вырвал из своего кармана двадцатку или сороковку и парню сунул. Может, проснется совесть у рвача? Кое-кто посмеивался потом, кто и просто корил. Мол, и руками бы те трубы перетаскали.

Возвращается Заки с буровой, ребяташки его — Рустам и маленькая Кадрия — уже не первый сон видят. Венера, же-

на, молча подогретый ужин на стол ставит, не спрашивает ни о чем. Помнит, как со свадьбы еще уехал Заки на буровую, так две недели и пропадал там безвылазно. И дальше так же пошло — не столько живет муж дома, сколько гостует, некогда и словом перебраться. Буровик...

Засыпает Заки; и кажется ему, что тут же ударяет будильник. Утро!..

И снова путь на буровую. Заки мнет в руке снежок. Весенний снег пахнет яблоком. С веток осыпаются бисеринки воды. Скоро все превратится в воду, все насытится ею — и тайга, и таежные проплешины, и топи, и дороги. Тюменская земля... С самолета только и видишь — озера, озерца, озерки, болота, синие жгуты рек и речек. Летом здесь засверкает серебро воды, а спустишься ближе, услышишь тяжелое дыхание топей — и поймешь, что такое комар и гнус. И селения все у большой воды, единственной здесь дороги. Большая вода и сейчас работает. Нефть везут реками. А вот малая вода...

— Понимаешь, Заки, дело это тонкое и рискованное — не мне тебе говорить. — Леонид Григорьевич Савва, главный инженер конторы, сосредоточенно прохаживается по кабинету. — Не мы первые и не мы последние на нем ломали шею. Опыта по наклонным скважинам нет, а необходимость в них есть!

Да, про необходимость наклонных скважин Заки знает. Особенно здесь, в Тюмени. Не везде можно поставить вышку. Иногда ближе чем за километр-полтора не подступиться к точке — то она под озером, то в болоте. Вот и подбирайся к ней сбоку, бури наклонную.

Знает Заки, что и опыта пока ноль. Три ствола начинали и ни один не довели. Не идут наклонные скважины по тюменским породам. Чуть что — завалы, авария: все на нервах.

— Да, — Леонид Григорьевич кивает головой, — в Тюмени совсем уже не верят наклонным, ну, и нам тоже.

Думай, думай, Заки! Думай, как в бригаду придешь, что ребятам скажешь. Впрочем, ребята поймут. Ведь последнюю, вертикалку, еще и с большим ускорением прошли — и премию получили и в дело поверили. А думать надо, как ее, наклонную, вести, чтобы не случилось беды на полдороге. Не годятся существующие проекты. Плохо проектанты знали Тюмень. Скважина в тюменских глинах, как в рыхлом песке, не успеваешь до твердых дорог дойти — заваливает.

...Дрожит буровая, началось забуривание. Напевает, постукивая, дизель. Помаргивают лампочки на вышке, и вся она

издали — как нарядная елочка. Глубоко уходит ее корень — скважина. Попробуй угадай, что там, под многими сотнями метров земной толщи. Пока все спокойно. Пока, а дальше что?

Мастер отходит от установки, тянет за рукав бурильщика в сторону — говорить легче, не так шумно. Все, кажется, нормально. Бурильщик даже закуривает. Достает сигарету и направляет ее в мундштук. Мундштук и в скважине есть. Трубка — кондуктор, а в ней труба поменьше, рабочая, вроде как сигарета в мундштуке. Забавно...

— Забавно, забавно, — над столом, заваленным бумагами и синьками, спины Саввы и Ахмадишина. — А что, если все дело в кондукторе? Представляешь, Заки, все бурение будем вести вот в таком мундштуке? Пока до твердых пород не дойдем? Не на двухстах — двухстах пятидесяти метрах обрывать кондуктор, как это бывает всегда, а продлить его, скажем, до четырехсот? — Леонид Григорьевич поднимается от разрисованного листа и выжидающе смотрит на Заки: понимает ли он, понимает ли, что эта простота — тыфу, тыфу, тыфу! — грозит быть гениальной?

Скважину прошли успешно. Сколько малиновых зорь и холодных утренних туманов было встречено у буровой!

— Ночь отстоишь, а как первую птицу услышишь, будто в речке искупаешься. Легко тебе, и самому петь хочется.

Не смолкли еще поздравления и слова благодарности за 530-ю наклонную, первенец Сибири, как Ахмадишину последовало предупреждение врачей — беречься. От переутомления и нервного напряжения.

Так зачем же едут сюда, в Сибирь? Зачем спешат сюда пять тысяч таких, как Заки: из Молдавии и Башкирии, из Воронежской области и нефтяной «Мекки» — Баку?

Тюменская тайга... Она, подобно старателю, пропускает сквозь сито своих испытаний и трудностей человеческие характеры, безжалостно отбрасывая шелуху, оставляя золотые россыпи душ героев — сильных, гордых, закаленных.

И те, кто приехал сюда навсегда, живут иногда во временах, но мечтают о голубых городах и поисках фонтанов нефти...

...Далеко в ночи виден свет буровых вышек. Широко шагают они. На тысячи километров ушли, к самому Ледовитому океану, на двадцати шести газовых и тридцати трех нефтяных месторождениях светят эти маяки. А сколько их разбросано

по еще не названным месторождениям, где только-только проложен первый санный след, сделан первый забой?!

О чем думает сейчас Заки?

Может, о последнем мужском разговоре с Павлом Петровичем Коровиным — заместителем директора конторы? Его теперь направили в Игрим, и он зовет Ахмадишина с собой.

— Контора, конечно, не легкая. С 1963 года, с основания плана она пока еще ни разу не выполнила. Директоров и главных инженеров до нас она видела не одного и не двух...

Нелегким всегда бывает разговор с женой. В глазах у нее тревога — снова переезды, снова все с самого начала, снова бессонные ночи Заки, нервотрепка, все с первого колышка. Во имя чего? Карьеры ради? Да, на новом месте, таком, как Тюмень, каждый растет втрое, если не вдесятеро, быстрее. Давно ли Заки начинал мастером, работал главным технологом, а теперь главный инженер конторы? Не закружилась ли голова? А может, так и должно быть, каждый должен быть там, где нужен, брать то, что по плечу?

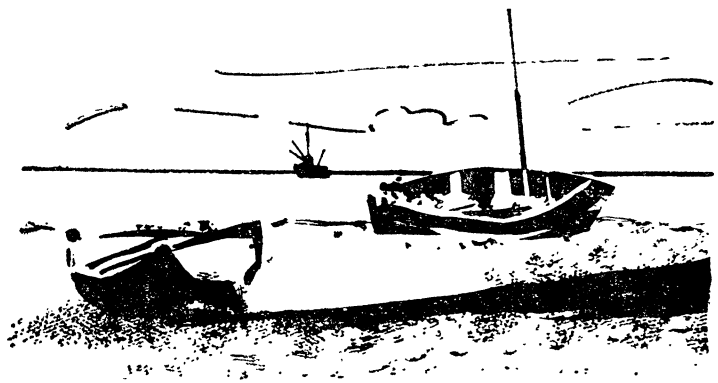




ОЛЕГ КУБАЕВ

# Азовский вариант

*Повесть*

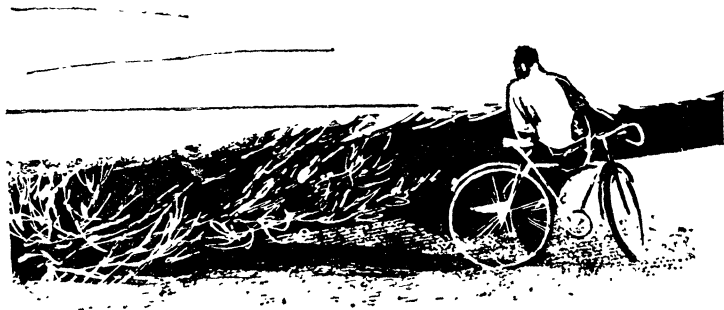




1

**Ч**еловек по прозвищу Три Копейки сидел у обрыва и разглядывал марево нагретого воздуха над камышовыми зарослями лимана. Обрыв сбегал вниз глинистым двухсотметровым уступом, по которому, как альпинисты, карабкались лохматые козы. За обрывом начиналась рыжая азовская степь, над степью кружились коршуны. Коршуны крутились над камышами сверкающего на солнце лимана, за лиманом же не было ничего: пляж из мелкого ракушечника «черепашки» да вода Азовского моря. Непосредственно за спиной Трех Копеек находилась дощатая стенка заведения с краткой и содержательной вывеской «Вино», потом шла покрытая желтым булыжником площадь, за площадью куриными, пороссячими и человеческими голосами гомонил воскресный базар.

Рисунки Г. НОВОЖИЛОВА



Таким образом, в этот утренний час Три Копейки мог, не сходя с места, охватить три сущности, три первоосновы бытия профессионального браконьера: лиман, где он упомянутыми в Уголовном кодексе способами ловил рыбу, рынок, где он обращал рыбу в деньги, и буфет, где эти деньги переходили в кассу буфетчика Ильи.

Все спокойно было в подлунном мире, спокойно и знакомо. Вот сейчас, Три Копейки это знал точно, к заведению подкатит на спортивном велосипеде отпускник с каким-то собачьим именем Адька и будет пить сухое вино, двадцать копеек стакач, а если он, Три Копейки, намекнет — с удовольствием угостит и его; он же будет врать ему разные побасенки и пить за чужой счет, пока не надоеет.

За стеной заскрипел замок, грохнулся на землю тяжелый засов — буфетчик Илья открывал свое заведение сегодня позднее — значит, будет жаловаться на то, как мозжила всю ночь простреленная нога. Потом, точно по заказу, появился и Адька в проклепанных и прошитых синих штанах, в цветастой шелковой рубаше — форма отпускника из провинции.

Адька появился без велосипеда. Он был весь такой невыспавшийся и вроде помятый, и потому Три Копейки выразил вслух сочувствие и заботу:

— Волосы у тебя, Адька, выгорели, как мочало. Ты голову прикрывай, а то вылезать начнут. Будешь путать, где голова, где пятка.

— Дьявол с ними, — хмуро сказал Адька. — Мне пятки не меньше головы нужны.

— За границей способ нашли, — таинственно понизив голос, сообщил Три Копейки. — Для лысых. Продергивают тебе под лысиной нитки, а на них надевают пластмассовые волосы, точь-в-точь как при изготовлении швабры. Получается прическа любой цвет, без парикмахерской, цела до гроба. Знал я одного научного человека, он в зарубежной поездке такие сделал.

— И как? — заинтересованно спросил Адька.

— Да, — грустно сказал Три Копейки. — Первый сорт была прическа. Сам трогал. Потом тот научный человек попал по ошибке в милицию на пятнадцать суток. Остригли его наголо. Только нитки под кожей остались.

— Хо-хо-хо, ха-ха! — развеселился Адька. — Пропал академик, пластмасса-то не растет!

Три Копейки покосился на яростно палящее солнце и черные точки коршунов в небе.

— Винца бы, — сказал он. — В жару хорошо.

Буфетчик налил два стакана — с сухим для Адьки и крепленным мутно-бордовым портвейном для Трех Копеек.

Через час они спорили, положив локти на столик.

— Поймают, — говорил Адька. — Не может быть, чтоб тебя не поймали. Не может этого быть, потому что...

— Не может быть никогда, — уныло договаривал Три Копейки. — Я когда в браконьеры пошел, сразу на «Лите-



ратурную газету» подписался. Хлестче всех о нас пишет. Читаю год — пишет, второй — пишет, я ловлю — они пишут. Соображаешь? Скучно читать, ей-богу.

— Вот пойду я в инспектора, и ведь я тебя изловлю, — сказал Адька.

— Жалею я эту инспекцию, — вздохнул Три Копейки. — Им моторы казна дает; у нас свои, выхоженные, и лодки мы сами делаем, которые сквозь камыш, как сквозь воду, проходят. И стрелять он в меня может, только если я в него перед этим пять раз пальну. И время у меня свое. Он отчеты составляет, а я изучаю местность. Жестокие законы нужны, чтоб нашего брата искоренить, а так... Сейчас инспекция на одних засадах живет. Но лиманов много, их мало. Ну, наткнулся я на засаду, им надо мотор завести, а я в уход. Пока убегаю, я сети в воду сброшу, они у меня уже заранее к грузу привязаны. Без сетей — берите. Никакой суд не признает меня виновным. Просто выехал погулять. Изнашиваются в этих условиях у инспектора нервы.

— Пойду, — сказал Адька. — Отпускник должен перемещаться. Активный отдых — друг здоровья.

Адька быстро пересек булыжную площадь. Спешить было некуда, но он еще не усвоил искусство шаркающего курортного променада.

Перед рыночным входом стоял галдеж. Толстые смуглые кубанки в цветастых платьях задирали ноги в кузова пыльных грузовиков. Связанные за ноги куры в их руках прикрывали оранжевыми веками круглые ошалелые глаза. Из дверей столовой валил запах горячих котлет с томатной подливкой. Отцы семейств в соломенных шляпах несли редиску. На стоянке автобусов, идущих к морю, колыхалась двухсотголовая очередь. До моря было одиннадцать километров, а маломестный автобус ходил раз в сорок минут. Последние в очереди были обречены торчать тут до вечера. Но эта толпа состояла из стойких, выдавших виды жителей больших городов, и они не отчаивались.

Адька прошел на рынок. Под гофрированной крышей его было прохладно. Дощатые столы в обшарпанной зеленой краске уже опустели, в проходах валялась давленная ботва редиски, семечковая шелуха. Только рыбный ряд стойко держался. Полосатые крупные окуни, плотные лиманьи щуки, судаки с оловянными глазами лежали на прилавках. Темные сомы меланхолично свешивали с прилавков китайские усики, и из-под сазанов с недоуменно приоткрытыми ртами выглядывала запретная осетрина.

У рыбных груд стояли тетки из Замостья — браконьерской слободы. Тетки презрительно смотрели на бесстыжих курортниц в обтягивающих штанах и прозрачных кофточках до пупа. Они не зазывали и не упрашивали — знали цену.

Адька прошелся вдоль ряда, остановился у белобрысого

пацана лет пятнадцати и выбрал себе судака средних размеров.

— Три рубля, — сказал пацан и безразлично покосился на белесые нитки облаков, зарождавшихся в неведомой выси. Из-под зеленого стола вылезла белобрысая же с веснушчатым носом девчонка, стала разглядывать Адьку.

— Почему дорого? — спросил Адька. — Вчера такой полтора стоил.

— Такая сегодня установка, — твердым рыночным басом ответил пацан.

Адька щелкнул девчонку по носу и отдал трешник.

— Та подождите ж, я вам веревочку вдену, раз вы без кошелки, — уже по-человечески сказал пацан. — Марья, дай бечевку!

Дивчина нырнула под прилавок. Адька взял судака и пошел опять мимо теток-тамерланов, которые молча смотрели прямо перед собой, переживая конкурентную зависть.

Адька вышел на затененную акациями улицу. Очередь у стоянки автобусов к морю чуть-чуть рассосалась. Наиболее малодушные из хвоста очереди расплзались, видно, по домам, проклиная юг, жару и транспортные организации. Энергичные мужчины в майках образовали компактную массу у ларька, где продавалось вино.

Напротив почты у водопроводной колонки стояли с ведрами две юные аборигенки. Пылающая южная плоть дерзко пренебрегала сарафанами, и юные аборигенки стояли у льющейся воды, как нимфы. Адька чертыхнулся и, повинуясь суровому внутреннему кодексу, стал смотреть на асфальт. Однако впереди него, чуть покачиваясь под коромыслом, плыла соседская дочка, десятиклассница. Загорелые ноги ее с плотной, как у танцовщиц, шиколоткой, переступали по асфальту. Девчонка покосилась на Адьку жгучие глаза и усмехнулась вовсе не по-школьному. Адька готов был треснуть ее судаком по голове, но вместо этого сказал: «Привет». Девчонка ничего не ответила, только хлопнула своими ресницами и опять усмехнулась. Адька готов был побожиться, что эта малявка читает у него в душе запросто, как на экране. Он яростно захлопнул за собой калитку и остановился, чтобы собрать слова в единым тайфуном стереть в порошок своего друга Колумбыча, как только он его увидит. Но вместо Колумбыча на стук калитки из сада выскочил пес Дружок — черно-белая дворняга. Пес уселся на землю, глядя на Адьку веселыми преданными глазами. Адька прошел к сараю, взял топор и оттяпал Дружку судака на рубль с чем-то.

## 2

В местах отдаленных бывает так, что человек вдруг ни с того ни с сего начинает толковать об иных краях. О тех самых, где виноград стоит полтинник, девчонки круглый год

ходят просто так по дорожкам в своем капроне и вообще жизнь надежнее, выгоднее и гораздо приличнее. Человек долго рассуждает о преимуществах собственного дома по сравнению со всяким жактовским, не говоря уже о барачном или палаточном житье-бытье, и в конце концов находит себе рай на земле в неизвестном ему до сих пор Ставрополе-на-Волге или Ключновке.

С Адькиным другом Христофором Колумбычем именно так все и было.

Он уезжал раза три, но все это кончалось разговорчиками, а тут все поняли, что он уезжает всерьез, ибо нашел то самое место. Было это место на Азовском море, и рыба там сама лезла на берег, дома отдавали желающим почти даром, кругом имелись плавни, лиманы, крутые горы, а запахи разной растительности по ночам сгущали воздух до состояния густого ароматического киселя. О городке этом он услышал от случайного автобусного попутчика, а тот, может, и сам его не видал, но, так или иначе, место было найдено, и Адькин друг Колумбыч уезжал.

Они познакомились четыре года назад у подножья одной из амурских сопок, и знакомство это можно назвать предопределенным судьбой, ибо ему предшествовал жизненный путь как Адьки, так и старого армейского служаки в отставке. Колумбыч имел биографию из богатых: зимовал в Тикси во времена героической Арктики, был снайпером на Халхин-Голе и долгое время прожил в северной Гюби, в одиночной юрте, давая приют попавшим в беду армейским шоферам. Среди всех этих дел он был еще пограничником, призовым стрелком, возглавлял шумевший когда-то лыжный переход Урга — Москва и на дне чемодана хранил типографские афиши с программами сольных концертов на балалайке. Столь разносторонняя деятельность помешала ему обзавестись собственным углом, а потому, выйдя в отставку в чине старшины и побездельничав два года в Самарканде, он подался на север, в страну своей молодости, и, видно, сделал это не зря, ибо само вторжение его в когда-то легендарные, но изменившиеся за четверть века северные края сразу родило легенды, как рождает их выход в море старого, полузабытого корабля.

Одна из легенд гласила, как на аэродроме полярной авиации не пускали в самолет специального назначения одного человека с двустволкой, рюкзаком и набором четырехметровых удилищ. Не пускали, ибо двустволку надо везти в разобранном виде, в чехле, рюкзак сдать в багаж, а удилища можно только складные.

На все возражения дежурной человек отвечал убежденно, что двустволка ему нужна неразобранная, в рюкзаке у него необходимые патроны и снасть, а насчет длины и системы удилищ ему лучше знать из всей России. Только так он и может лететь над любым диким местом: грохнется самолет — кто будет кормить экипаж и уважаемых пассажиров?

Говорят, что от этих неопровержимых доводов сник на-

чальник отдела перевозок, помнивший времена первых полетов в Сибири, и начальник аэропорта, вызванный на шум, замолк с затуманенным взором, а командир корабля с четырьмя значками, каждый — за миллион километров, сказал: «Я этого вооруженного деда беру под свою ответственность». Самолет взлетел и взял курс на восток. Еще говорят, что по дороге самолет тот исчез и нашли его через два дня на глухом запасном аэродроме возле какой-то речки. Первый пилот и второй пилот, штурман, радист и бортмеханик в кожаных штанах отрешенно стояли на берегу водоема с четырехметровыми удилищами в руках, а на ступеньках самолетного трапа сидел и курил старина с двустволкой, охраняя всемирный покой.

На север Колумбыча утащила, как он понимал, тоска по устроенной жизни, а до пенсии идеалом устроенной жизни была армия, когда командиры и интендантство заботятся о твоём перемещении по планете, пище три раза в сутки и одесжде. Сходный вариант на гражданке он нашел в топографической экспедиции. Экспедиция занималась триангуляцией вначале возле Норильска, а потом перекочевала на Амур. Колумбыч же определился туда завхозом, что вполне соответствовало его званию старшины. Почти сразу у него прорезались таланты: уложить человеку на спине мешок с цементом, который надо нести на вершину, окружить царской заботой вернувшегося из «многодневки» бедолагу, вовремя оттащить тоскующему на вершине наблюдателю термос с зараренным по дозе чаем и еще иногда, когда идут дожди, вдруг брякнуть ни с того ни с сего: «В пустыне Гоби дует ужасный ветер — хамсин. Когда он дует...» И все лежат, слушают стариковские побасенки, и все становится на свои места, возникают у каждого идеи и жизненные перспективы.

У проклятых тысячами километров страны профессионалов топографии Колумбыч получил уважительное звание «кадровый». Почетное это звание дается редким, за высокий и точный экспедиционный дар. Заодно он получил и свою кличку, ибо звали его Христофор, кроме того, подобно Колумбу, он свято, наплевав на географию, верил в существование неоткрытых и интересных земель.

Все-таки изредка на Колумбыча нападала тоска. Неясный комплекс тоски пожилого мужчины.

Грусть по несуществующему сыну, из которого так приятно делать мужчину.

Тоска по дому, который можно назвать своим, откуда тебя понесут достойно хоронить и будут плакать люди и соседи.

Тоска по какой-то неясной местности, в которой есть все, что искала твоя душа, той самой местности, которая для каждого человека бывает только одна.

Но тоска на него нападала редко, ибо чего там еще было желать: мужское общество, к которому он привыкал двадцать пять лет, четкая полуармейская жизнь, охота и ры-

балка, из-за которых он всю жизнь служил в глухих гарнизонах и менял Алтай на Саяны, Саяны на Гоби, Джунгарскую пустыню, болота Полесья или Туркестан.

Уже в амурские времена в экспедиции появился Адька.

### 3

Жизненный путь Адьки был прост и определился в девятом классе, когда он в селе посреди Барабинских степей прочел книгу топографа Федосеева «В тисках Джугдыра». Как истый сибиряк, Адька решил судьбу сразу и основательно. Он поступил в топографический институт. В институте он не готовился стать ученым, несмотря на научное поветрие века, не вникал особо в проблемы планетарной или математической геодезии, а просто готовил душу, голову и тело к работе рядового экспедиционного инженера, труженика земной картографии. Для этого он обтирался по утрам снегом, три раза в неделю бегал на лыжах, спал зимой в спальном мешке при открытом окошке, а также выписывал охотничий журнал и два специальных.

Курс подготовки кончился, Адька получил диплом, направление и покатил из сибирского вуза еще дальше на восток, к назначенному месту. И хоть был он уже инженер и взрослый человек, но крепко надеялся на романтические перспективы, вроде тех, что описаны у Федосеева.

Когда он добрался до места, действительность его не разочаровала. На временной базе из нескольких самодельных срубов имелся только один человек. Человек этот в момент появления Адьки был занят замечательным делом: прилаживал оптику к трехлинейной винтовке. На стенке одного из срубов были распялены две медвежьи шкуры, тут же валялись красномясые пластины рыб и стоял набор удилищ с катушками и без них.

— Ваше хозяйство? — спросил Адька, кивнув на это великолепие.

— Я завхоз, — сказал незнакомец. — Мое дело склад, снабжение мясом-рыбой и разная другая помощь в работе.

Положив винтовку на стол, он выпрямился так под метр девяносто и крикнул: «Ося!» Тотчас в избушку зашел, покачивая головой, журавль и посмотрел на Адьку умным черным глазом. Сердце Адьки дрогнуло, и с этого момента началась его дружба с Колумбычем.

К работе Адька приступил с истовой старательностью, можно сказать, лег в работу. В этом ему помогало выработанное по системе здоровье, несомненный нюх, необходимый топографу для выбора нужных вершин, с которых идут основные засечки, и сибирская основательность, столь необходимая при скрупулезных камеральных расчетах.

Адька и не задумывался никогда, счастлив он или нет. Это была его жизнь, которую он выбрал на десятки лет еще в девятом классе. А вечера можно было проводить с

Колумбычем за нужной беседой о системе оружия, с которым охотятся на крокодилов, или размышлением о судьбах снежного человека.

Когда на Колумбыча накатила блажь и он нашел то самое место, Адька опечалился больше всех, хотя и вся экспедиция крепко была печальна.

Честного завхоза найти можно, но где еще найдешь человека, который разотрет по-отцовски ноги и спину после адовой ходьбы по курумнику с двумя пудами железных скоб на спине, и кто же еще в дождяную тоску расскажет про жуткие ветры в черных Гобийских пустынях или про вкус воды в колодцах джунгарских степей?

Ради проводов Колумбыча экспедиция «спустилась с гор» в приисковый поселок, откуда ходили автобусы до железной дороги. Всю дорогу Колумбыч, словно оправдываясь, толковал насчет всеобщего оскудения жизни для истинно бродячего человека: «Автобусы всюду ходят, и, говорят, скоро даже в Якутске паровоз загудит... Не-ет, пора на покой...»

В поселковом магазине взяли они несколько бутылок вина и пошли в столовую, чтоб уж там проводить Колумбыча по всем экспедиционным правилам. Но получилось скучновато: портвейн ни к лешему не годился. Колумбычковырял вилкой в тарелке и бубнил: «Вот вам, пожалуйста: прииск, золото, а в столовой «котл. руб. с верм. и под.», и в Самарканде это, и хоть куда ни заберись, везде будет столовка и будет стоять «котл. руб. с верм. и под.». Немного только развеял их один загулявший братишка-старатель. То ли для маскарада, то ли душа требовала, но вырядился он, как у Мамина-Сибиряка, в широценные шаровары и красную рубаху навыпуск. В одной руке нес человек никелированный электрический чайник, на носике чайника висел стакан, на другую руку нанизаны были круги краковской колбасы. И вот так этот хлебосольный малый подходил к каждому, кто сидел в столовой. «Пей», — и протягивал чайник со спиртом. «Закусывай», — протягивал руку с нанизанной колбасой. Все рассмеялись при виде доброго этого парня, а Колумбыч сказал: «Ну и чего смеетесь? Может, это последний человек на всю золотую Сибирь. И костюм-то у него, поди, из театра, а на чайник да колбасу всю зарплату угрохал — жена ему взбучку даст...»

В общем его, видно, окончательно заела тоска по какому-то неизвестному месту или уюту.

Когда автобус упылил к цивилизации и пыль улеглась, все стояли и вспоминали легенду о том, как шесть лет назад под Москвой на аэродроме полярной авиации не пустили в самолет человека с двустволкой.

В поселке им не сиделось, и они отправились обратно на свою базу в амурских сопках. Осень была. Адька шел и размышлял, что не родилось еще человека, который смог бы описать амурскую осень, когда сопки стоят прозрачно-желтые от пожелтевших лиственниц и по этим желтым прозрачным холмам раскиданы кусты красной рябины и хочется

только одного: идти, идти и идти, и невозможно себе представить, что где-то кончатся эти желтые холмы, этот желтый солнечный воздух, и не верится, что бывает ночь, дожди, непогода, а просто веришь чуть не наяву, что некто неведомый и добрый просто перекрутил кадр, задержанный по недосмотру, теперь же на всем земном шаре будет всегда и везде так: желто, тихо и солнечно.

В голове у Адьки крутилась в это время любимая песня уехавшего Колумбыча:

Там далеко, там далеко страна чужая,  
Три тысячи рек, три тысячи гор ее окружает,  
Три тысячи лет с гор кувырком катится эхо —  
Туда не дойти, не долететь и не доехать...

Так шли они по тропе, пробитой व्यючными лошадьми, все выше и выше, все больше сопок отключалось им, а потом уже выползали дальние, которые были не желтые, а синие, очень четкие, как на контрастной фотографии, бурюндуки верещали в кедровых кустах, кедровки перекликались, смоляной воздух крепче любого нюхательного табака так и бил в ноздри, и Адька, самолучший и личный друг Колумбыча, сказал: «Надо было нашего старика провести еще раз по этой дороге, потом отпустить. Куда бы он, ну подумайте сами, куда бы он, к лешему, уехал? Пусть мне весь этот Крым, и Ялты, и Ниццы в личную собственность подарят, я и пальцем не шевельну, чтоб туда пересечь».

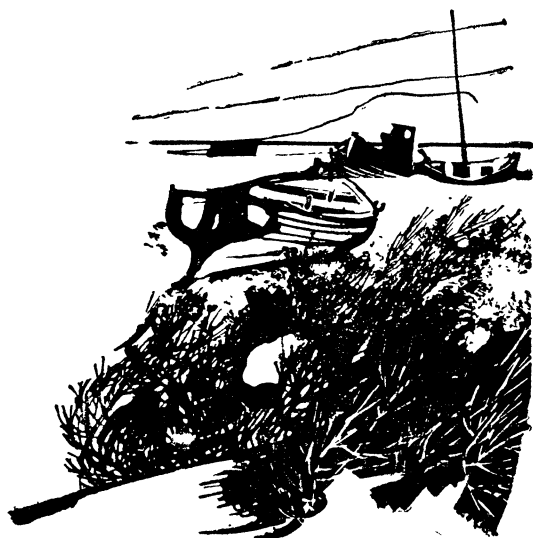
От Колумбыча стали приходиться письма. Вначале писал кратко: «Дом купил, свой виноградник на пару бочек вина, солнце круглый год, в январе купаться можно, и все вы, ребята, идиоты, что прозябаете там, в дыре». Потом письма стали толстые и романтические, что тебе сто томов Майн Рида. Были в тех письмах греческие храмы с обломками статуй невиданной красоты, скифские курганы с сокровищами, гигантские плавни, где человеку заблудиться легче, чем грудному ребенку в необитаемой пустыне: сел в лодку около дома, зазевался немного — и очутился уже в Турции, кабаны там сидят за каждой камышиной и выжидают момент, чтоб вспороть тебе живот изогнутыми клыками, а чуть выше, в дубовых лесах, бродят свирепые медведи. Получалось, что всю жизнь он искал подходящее место, где мог бы успокоиться, а место это оказалось в самой что ни есть обычной европейской России, возле обмызанного туристами всех столетий теплого моря.

Но в тех великолепных письмах звучала плохо скрытая тоска, а так как адресовались письма Адьке, то ясно было, что Колумбыч пробует просто переманить Адьку на юг, играя на его неуставившемся характере и воображении. · Одного добился Колумбыч: все кинулись искать на картах этот интригующий городишко, но так его и не нашли, видно, слишком уж он был незначителен для карт.

К весне Адьке подошел отпуск, настоящий шестимесяч-

ный отпуск, накопленный за прошлые годы. Адька решил было провести его в родном барабинском селе, но совет умудренных жизненным опытом ветеранов решил, что ему надо ехать на юг, ибо Адьке не приходилось еще переправлять через Урал, на европейскую сторону.

Тот же совет разработал краткую инструкцию, как должен вести себя человек на юге. Инструкция сводилась к тому, что на юге положено:



- 1) пить много сухого вина;
- 2) всемерно валяться на солнце около соленой воды;
- 3) крутить легкомысленные романы.

Инструкция не блистала новизной, но, по мнению ветеранов, именно в проверенности ее практикой человечества содержалась сила, способная удержать неискушенного Адьку от разных ненужных поступков.

А уже перед отъездом появился еще один пункт. Начальник экспедиции Самлюков, легендарный ветеран картографии, отозвал Адьку в сторону и спросил риторически: «Ты знаешь, что нам предстоит на будущий год?»

Адька знал. На будущий год им предстояло черт знает



что. Экспедиция должна была работать в одном районе по заказу армии. Район этот был глух и труден, но вся соль заключалась в том, что школа русских армейских топографов еще со времен Пржевальского имеет заслуженную мировую славу, и их гражданской экспедиции надо было показать работу высшего класса и еще чуть выше, ибо принимать ее будут признанные асы топографической науки.

— Это я к твоему отпуску, — сказал начальник. —



У нас щербинка на месте выпавшего Колумбыча. Ты его должен представить на место. Езжай к нему, ликвидируй недвижимую собственность и тащи сюда. Дело не в том, что он нужный завхоз. Я десятки экспедиций провел, человечество знаю и знаю тот редкий кадр, который каменная стена, с одной стороны, и дрожжи для настроения — с другой. Понял?

— Понял, — сказал Адька и отбыл по той же самой дороге, по которой в прошлую осень отбывал Колумбыч. И все было так же, только на сей раз стояла весна, а в столовой не было малого с чайником. Видно, жена его и впрямь перевоспитала.

Чтобы Адьке добраться до Колумбычевых райских кущ, надо было лететь до Краснодара, а оттуда автобусом двести километров. Дорогу он знал по письмам и дал телеграмму, чтобы не встречали отпускника-бездельника. Хорошо было сидеть в самолетном кресле: в кармане аккредитивы, позади ничем не омраченное бытие и впереди свобода, дуй по карте Союза в любую сторону или остановись временно, выпей в буфете коньячку с лимоном и шагай по неизвестному городу, купи билет на вагонную полку, смотри пейзажи и просыпайся под шум неведомых мест. Поэтому Адька и дал телеграмму. Но первый, кого он увидел, был старый Колумбыч возле зеленой оградки краснодарского аэродрома, все такой же тощий, высокий, только сильно загорел и вроде стал еще прямее. Он смотрел на другой АН-24, прилетевший чуть раньше, смотрел на толпу пассажиров, все, как один, в темных очках и цветастых одеждах, и сам Христофор был тоже в цветастой рубашке навыпуск и узких брючках, со спины — просто не в меру вытянувшийся мальчик.

Этот не в меру вытянувшийся шестидесятилетний мальчик прятался от пассажиров с другого АН-24 за телеграфным столбом, старый разведчик, око границ, видно, хотел огоршить Адьку неожиданным появлением, а Адька стоял у него за спиной и смотрел на такой знакомый затылок с аккуратной военной прической и представлял, как Колумбыч ехидно улыбается, предвкушая изумление на Адькином лице, но последние цветастые пассажиры прошли, и Колумбыч даже сгорбился в недоумении, и тут Адьке вспомнились долгие дни и вечера, которые они провели вместе, и то, как старый чужак обучал его выхватывать мгновенно пистолет из кармана, пистолет тот брали напрокат у начальника экспедиции, обучал куче столь же ненужных и увлекательных вещей, и стариковские руки, которые делали ему массаж и наливали чай в кружку, ставили оптику на его карабин и учили, как препарировать для чучел птиц с амурских озер, и Адька, весь пронизанный щемящей нежностью, сказал за спиной:

— Привет.

Колумбыч мгновенно обернулся, но Адькин «кольт» уже неумолимо смотрел на колумбычевский живот, и тому ничего не оставалось, как поднять руки и сказать традиционное:

— Ты выследил меня, грязный шайтан...

— Да, — сказал Адька. — И только бутылкой сухого, повторяю, сухого вина, ты можешь купить себе пару минут презренной жизни.

— Какие слова! — вдохновенно откликнулся Колумбыч. — Какая музыка! Покупаю себе два раза по паре минут.

Была уже ночь, когда они выбрались, наконец, на шоссе. «Запорожец» долго кружил среди белеющих в сумер-

ках домишек, а Адька крутил головой, пытаясь разглядеть эти новые места. Вот он, юг, тот самый юг, откуда пластинки привозят «О море в Гаграх, о пальмы в Гаграх» и отпуски осенью делятся мемуарами о развеселом житье.

— Вот справа, — слышал Адька, — виноградник. Громадная площадь, и каждый куст на цементном столбе. Дерево здесь и года не стоит, сгнивает в плодородной почве. Вот слева — лиман. Там сазаны лодки переворачивают от дикой своей силы.

— Остановись, — сказал Адька. Густая темная ночь обнимала их со всех сторон. Свет фар выхватывал придорожный кустарник.

— Слышишь? — сказал Колумбыч. В чернильной тьме по бокам шоссе что-то скрипело, посвистывало, шебаршило и квакало. Не тишиной, а неустанным ночным шумом, безудержным шевеленьем жизни была заполнена южная ночь. Далеко впереди, на бугре, зрачками гигантского зверя вспыхнули фары. Казалось, кто-то дикий, неистовый рыскает по древней степи, выискивая добычу.

— Так Леньку на острова отозвали? — спросил Колумбыч

— Да, — сказал Адька. — На полярные острова отправился Ленька. Не в виноградник на цементных столбах.

— Ах дурак! Глупый Ленька. Там же тундра. Лед там и тундра. Ты слышишь, воздух какой? А ведь в тундре кислорода в воздухе не хватает. На пятнадцать процентов меньше — научный факт.

— Хватает. Он телеграмму прислал. «Кислорода хватает».

— Иду на взлет, — сказал Колумбыч и сел в машину. Он повел ее тихо, потом громко повторил: «Иду на взлет», — и даванул на акселератор. Крохотный «Запорожец» рванулся в ночную тьму, и Адька, откинувшись на сиденье, думал, что хорошо вот так сидеть в машине, и в голове чуть кружится от кислого вина «Рислинг», и еще он думал, что хорошо иметь друзей. Истинная твоя семья и есть среди друзей, а не всяких там люлек, пеленок, торшеро́в.

## 5

Раскаленное солнце яростно рвалось в низкие окна саманного дома. Это солнце и разбудило Адьку. Он посмотрел на часы. «Восемь утра. Что же днем-то будет?» — подумал он.

Солнце давило на стекла с неодолимой силой, и Адька вспомнил институтские лекции об опытах физика Столетова. Его опыты по измерению давления света считаются верхом экспериментального мастерства, а какого дьявола тут измерять: стоит только доехать до Азовского моря.

Колумбыча он нашел в саду. Тот сидел на ветхозаветном чурбачке перед загородкой из проволочной сетки.

За загородкой бродили куры, голенастые, недавно вышедшие из младенческого возраста особи с ярко-красным оперением.

В одной руке Колумбыч держал толстую книгу, в другой тетрадку и занимался загадочным делом: смотрел то в книгу, то на огненно-красных кур, делая непонятные черточки в тетрадке.

Вчера, в первый день Адькиного приезда, они просидели чуть не до рассвета за кислым темно-красным вином из винограда «изабелла».

— В этом вине, — поучал Колумбыч, — ужасное количество разнообразных витаминов. Человек, который его пьет много и каждый день, заболевает гипervитаминозом, как, допустим, тот, кто поел печенку белого медведя.

После гипervитаминозного вина они пели старые свои экспедиционные песни.

Лихие были эти песни, и Колумбыч наигрывал на своем банджо, неизвестно где он ухитрился приобрести этот иноземный инструмент, но банджо гудело настоящим экспедиционным басом: «Нам авансы крупные вручили, доброго пути не пожелали, в самолет с проклятьем посадили и отправили ко всем чертям...»

От гипervитаминозного вина сухость стояла во рту и голова слегка болела. Солнце медленно ползло на верхушки абрикосовых деревьев и яблонь. Колумбыч все путешествовал между своими курами, книгой и записной тетрадкой.

За дощатым забором шел разговор:

— Ваня, иди кушать.

— Я уже кушал.

— Что ты кушал?

— Борщ.

«Черт возьми! — думал Адька. — Жизнь проста, как равнобедренный треугольник. Утро. Солнце. И человек уже покушал борщ».

Вчера было так хорошо, и они уже утихли от своих экспедиционных песен, когда Колумбыч снял со стены гитару и кончиком ножа, смазанным сливочным маслом, стал наигрывать на одной струне протяжные мелодии южных морей. Таинственный мир, где растут пальмы и пляшут хулу, вошел в низкую комнату саманного дома. Единственно, что хотелось, — жить еще три тысячи лет вот точно так: в трудной своей работе, а потом отдыхать среди своих ребят, пить вино, петь свои песни и знать, что завтра опять будет та же работа и свои в доску парни вокруг.

И вот сейчас Адька смотрел на углубленного в книгу Колумбыча и размышлял.

— Курица А, — загадочно шептал тот, — превалирует над курицей Б. Это ясно. Но которая из них будет Д, черт побери?

Адька не выдержал и прыснул. Колумбыч повернулся к нему и посмотрел, как Архимед на того самого римского солдата.

— Слушай, — сказал Адька, — тебе случайно не надо почитать?

— Это тебя надо лечить, вот по этой книге, — обиженно сказал Колумбыч и показал Адьке обложку: «К. Д. Шнеезон. Зоопсихология». — «Во всяком курином сообществе, — процитировал Колумбыч, — можно выделить особь А, отличающуюся наибольшей активностью, особь Б, особь В и так далее. При удалении одной из особей ее место занимает следующая по рангу...» Понял? — торжествующе сказал Колумбыч. — Точь-в-точь как у людей: начальник, зам. начальника и зам. зама. Курицу считают глупой птицей, а мы-то много ли лучше?

— Слушай, — сказал Адька. — Я приехал купаться в теплой морской воде, а не твои бредни слушать. Море в какой стороне?

— Пятнадцать минут до конца наблюдений. Кончу — отвезу на машине.

— Нет, — сказал Адька. — Машина мне не с руки. Мне пешком ходить надо, чтоб ноги не слабели. Шесть месяцев — сам подумай. Я тут в комнатную болонку превращусь или вроде тебя стану.

— А я что? — спросил Колумбыч.

— А ты уже все, — с хитрой безжалостностью ответил Адька. — Собственность завел, куриц считаешь. Ребята сейчас бы на тебя и плюнуть бы не захотели. Понимаешь, даже и намек нет, что ты когда-то в экспедициях состоял.

— Обожди, — сказал Колумбыч. — Видишь курочку А? Я ее Мария-Антуанетта зову. А вот та — курочка Б. Фрейлина ее имя. Кидаю зерно. Смотри!

Колумбыч кинул сквозь сетку зерно, курицы суматошно кинулись, и одна из них его съела.

— Видел? — торжествующе спросил Колумбыч. — А и Б подбежали одновременно, но Б уступила. Остальные только видимость делали, что кидались. Если бы горсть — другое дело.

Адька смотрел на кур и видел, что все они одинаковы.

— Потом начну опыты с отсаживанием, — сказал Колумбыч. — Когда ранги определю. Пока только А, Б и В знаю.

— Колумбыч! — сказал Адька. — Пойдем, милый, к доктору. Тебе темечко напекло, бредить начинаешь..

— Наука! — уважительно вздохнул Колумбыч и захлопнул книгу. — Пища для души и ума пенсионера.

## 6

Адька поселился в саду в палатке. Этим он преследовал две цели: уязвить Колумбыча подчеркнуто экспедиционным образом жизни даже в этих разлагающих душу и тело южных краях и самоутвердиться, подчеркнуть для самого себя, что он профессиональный бродяга и на долгие годы палатка — его дом, палаточный пол — его ложе.

Отвергнув всякую помощь Колумбыча, он натянул палатку по жестким экспедиционным канонам под старой, покореженной временем сливой, притащил найденную во дворе сарайную дверь и положил ее на кирпичики, чтобы снизу не проникала сырость от влажной кубанской земли, в углу палатки поставил ящик-стол, покрыл его чистым газетным листом, прилепил свечку для ночного чтения, разложил книжки и — почувствовал себя счастливым самостоятельным человеком.

Колумбыч только покряхтывал завистливо, глядя на все эти приготовления, потом сказал:

— Там и второй человек поместиться может.

— Иди, иди, — ответил Адька. — Тебе надо спать под крышей и по ночам пересчитывать кур. Ни к чему тебе палатка.

С хитростью потомственного сибиряка Адька просто хотел довести Колумбыча до белого каления и уж потом предъявить ему ультиматум, сказать, что ребята просто требуют Колумбычева возвращения. Раньше времени об этом не имело смысла говорить, ибо Колумбыч начал бы хвастать про то, как был он всю жизнь незаменим везде, куда кидала бродяжья армейская жизнь: строитель плотов и лодок, лекарь, охотник, тренер, душа общества, музыкант — гитарист-балалаечник. Кроме того, Адьке хотелось побыть в палатке одному, имелась необходимость крепко подумать. Первые два пункта наказа он выполнял после приезда легко: каждое утро мотался на пляж и пил сухое вино без особого удовольствия, но ведь ребята же знали, что советовали. Насчет третьей части наказа — женщин — дело обстояло хуже, если не катастрофически. Вообще-то Адька считал, что суровому экспедиционному человеку женщины ни к чему, одна морока с ними да волнения, от которых женатики, оставившие жену где-то в Москве, Ленинграде или Новосибирске, перед отпуском чуть не на стенку лезут.

С другой стороны, все та же экспедиционная мужественность требовала быть победителем всегда и везде — будь то сопка, медведь или соблазнительная красotka.

Но все, все на сей раз было иначе. Началось это в первый же день поездки на пляж.

Адька сидел тогда в «Запорожце» и смотрел на чистенькие, ослепительно белые улицы южного городка с затененными акациями тротуарами, полосатыми легкомысленными зонтами над тетками-газировщицами и загорелым, смуглым, цыганистым здешним народом. Городок этот не числился в особо курортных, но приезжих было много, их сразу можно было отличить по техасским штанам и расписным рубашам. Адька с неприязнью смотрел тогда на здешний и приезжий люд. Что они понимают в жизни? Сидят всю зиму по каким-нибудь конторам над входящими и исходящими, едят каждый день витаминозные натуральные овощи и фрукты и ждут лета — каждое лето, даже поездка в этот заштатный городишко — для них событие, мемуары на целую следующую зиму.

Адька посмотрел на Колумбыча, но Колумбыч был всецело занят рулем: четкий военный человек, четко, по-военному вел машину.

«Не место ему тут, совсем не место», — подумал Адька.

Они проехали центральную асфальтированную улицу, пыльный, покрытый булыжником спуск к Кубани, горбатый мост через мутную, желтую Кубань, редкие, спрятанные в садах саманные домики окраины и выехали на дорогу к морю. Насыпная дорога шла сквозь соленое, поросшее ржавой осокой прибрежное болото. Запах сероводорода шел сквозь ветровое стекло, ослепительно сверкали блюдца воды между зарослями осоки и черной грязи, и по этой грязи, осоке и воде бродили белые цапли. Цапли ходили кучками и в одиночку, как будто сообща разыскивали потерянный кем-то предмет, а некоторые стояли на одной ноге, точно припоминали, где все-таки тот предмет мог быть потерян. «На тундру местами похоже», — подумал Адька. — Только вместо цапель там журавли». И Адьку царапнула мысль об оставленных в амурских сопках ребятах. Как там они сейчас таскают на вершины бревна, цемент и железо, встают в пять утра, потому что утро — лучшее время для наблюдений, под комариный вой сидят ночами над нудными увязочными таблицами?

«Во работенка! — подумал Адька. — И в отпуске от нее не отделаешься».

Но через пять минут он забыл о работе, потому что увидел море. Самое настоящее южное море с пляжными зонтами на крепких столбах, желтым ракушечным пляжем, с «Волгами», «Москвичами» и «Победами» у начала пляжа и голый толпой коричневых купальщиков. На пляже кипела деятельная жизнь: ревели транзисторы, взлетал волейбольный мяч, от воды шел самозабвенный ребячий вопль.

Адька стал быстро раздеваться, чувствуя, что необходимо вот сейчас же, немедленно залезть в эту кишашую человеческими головами воду, приобщиться к племени отдыхающих. Раздевшись, Адька чуть не с омерзением посмотрел на свое белое, лишенное загара тело и пошел к воде, утешаясь: «Ладно, загар за три дня нагоню, а плавки на мне японские, из Владивостока».

Прибрежная полоса воды была желтой и мутной, как вода Кубани, но дальше от берега она переливалась голубизной в ослепительном мерцании солнечных бликов.

Адька поплыл к чистой воде, и сразу же через двадцать метров он остался один, шумная суета пляжа исчезла, исчезли людские голоса, были только он, Адька, и море. Адька плыл медленно, соображая, чтобы хватило сил обратно, хотя и был уверен в этой своей силе, так как плавал совсем не плохо. И когда Адька уплыл уже совсем далеко, он увидел еще далеко впереди зеленую шапочку, которая качалась на волне.

«Девчонка, — подумал Адька. — Куда ее черти занесли? Ну врешь...»

И он помахал вольным стилем к этой зеленой шапочке, ибо самолюбие его требовало заплыть дальше всех и тем утвердиться на этом пляже среди разномастных людей. Зеленая шапочка приближалась ужасно медленно, потом он услышал голос — девчонка пела. Пела так себе просто, как будто берег не болтался где-то в ужасном далеке. Адька оглянулся. Берег был очень далеко, просто и невероятно, что он сюда заплыл, фигурки людей казались совсем крохотными.

«Ни черта, — подумал Адька. — Устану — отдохну на воде». Он проплыл мимо девчонки не так чтобы близко, но и не так чтобы в отдалении. Она помахала ему рукой: «Плыви сюда».

— Хорошая погода, верно? — спросила она радостным голосом, когда Адька подплыл. Адька согласился. Минут пять они болтались на воде, поддерживая пустячные разговор и равновесие. Адька не мог разглядеть девчонку, зеленая шапочка скрывала голову, видны были только глаза с покрасневшими от воды белками.

— Плыдем обратно? — сказала девчонка.

— Плыдем, — согласился Адька.

Они плыли медленно, брассом, и Адька думал, что это, чего доброго, завязка его первого романа; надо только не упустить девчонку, когда выйдут на берег.

А девчонка вдруг крикнула: «Догоняй!» — и пошла отмахивать баттерфляем. Баттерфляй у нее был очень техничный, это Адька понял сразу.

«Пловчиха какая-нибудь», — думал он, стараясь не отстать, но потом стало уже не до мыслей.

Когда Адька вылез на берег, его чуть пошатывало и в голове звенело. Он оглянулся, пытаясь разыскать девчонку, но зеленая шапочка уже исчезла. Адька пошел к машине, возле которой маячила долговязая фигура Колумбыча. Лицо у Колумбыча было старое, куда старше возраста лица, а фигура как у семнадцатилетнего мальчишки, сухая, в четких переплетениях мускулов. Колумбыч приплясывал под свист соседнего транзистора на самом солнцепеке.

— Замерзаю в воде, — пожаловался он. — Не успел накопить жировой прослойки. С кем это ты на волнах качался?

— Не знаю, — сказал Адька. — Мощная девчонка, баттерфляем ходит.

— Она и «дельфинчиком» ходит, — сказал приплясывающий Колумбыч, — я ее знаю. Из института физкультуры она. Акробатка.

Адька лежал на горячей ракушке и думал о том, что хорошо бы закрутить роман с акробаткой. Чтоб потом в дождливые дни в палатке предаваться воспоминаниям, а уже совсем потом, на склоне лет, тоже предаваться воспоминаниям о полноценно прожитой жизни, где была работа, опасности, женщины и вино. Жизнь мужчины.



Акробатку он увидел через час. Она сама пришла к нему и села рядом. Он увидел ее еще издали, когда она шла к машине, и как-то сразу узнал, а узнав, разочарованно хмыкнул. Девчонка была маленькая и по-физкультурному плотная, с плотными, развитыми тренажером ногами, и вся фигура у нее была такая, какая бывает у девчонок-физкультурниц, а у них она всегда отличается от фигур журнальных красоток. На акробатке был отчаянно смелый «бикини», две голубые полоски ткани, но, наверное, из-за спортивной ее фигуры этот отчаянно смелый купальник не наводил на грешные мысли. Но больше всего Адьку разочаровало лицо. Круглое веснушчатое лицо с коричневыми пятнами от солнечных ожогов и облупленным носом. Не такой, созсем не такой хотел видеть Адька даму своего южного романа.

— Почитать есть что-нибудь? — спросила девчонка, как будто Адька был давним ее приятелем, хорошим знакомым.

— Есть, только скучное, — сказал Адька. — Спецлитература.

— Скучное не надо, — сказала она и стала смотреть на море коричневыми, как у козы, глазами. Адька лежал и думал, как бы начать непринужденную светскую беседу.

— А лихо у вас получается плавать, — сказал он.

— Ты тоже ничего, — откликнулась акробатка. — Только голову низко держишь, когда вольным плывешь.

— Да, — сказал Адька. — У нас в Сибири особенно учиться негде. Я морозоустойчивый очень, потому и научился.

— Ух! — передернулась акробатка. — Как в той Сибири можно жить? Я всю жизнь здесь прожила и учиться поехала в Кишинев, где теплее.

— Можно, — снисходительно ответил Адька. — Лучше, чем здесь.

— Я сегодня на танцы пойду, — по неизвестной логике сказала акробатка.

— Отлично, — краснея от собственной наглости, откликнулся Адька. — И я тоже. Где встретимся?

— У парка в восемь, — скучно ответила акробатка и вдруг пошла прочь в своем немыслимом «бикини», как будто не затем и приходила, чтобы назначить Адьке свидание.

«Ну и ну! — подумал Адька, глядя ей вслед. — Действительно юг. Жаль, что она замухрышка такая, а то бы...»

Он так и не успел додумать, что бы было, если бы акробатка не была такой замухрышкой, так как увидел Колумбыча, который, подойдя, вынул из кармашка баночку и кинул ее Адьке.

— Мажь кожу, а то сгоришь.

— Нет, — сказал Адька. — У меня кожа несгораемая.

— Я лучше знаю, — сказал Колумбыч.

Адька взял баночку. Крем «Нивея» предохраняет от ожогов солнца, способствует загару, применяется после бритья.

— Эликсир, — сказал Адька. — Универсальное средство. Заживляет раны конечностей, излечивает туберкулез, служит прививкой от рака.

Мимо в пятый раз прошел гигантский парень в жокейской шапочке. Парень был великолепен в могуществе двухметрового роста и отлично развитой фигуры. Он шел подрагивающей небрежной походкой, какой ходят по пляжу гордящиеся фигурой пижоны.

— Чего тут шляется этот десятиборец? — спросил Адька.

— А что ему делать? — ответил Колумбыч. — У него цикл развития уже закончен.

Пляж все так же грохотал в выкриках волейболистов, шуме транзисторов и неумолчном шорохе ракушек, которые перекатывала накатная волна. Но шум этот уже шел на спад, все больше людей одевалось и шло к автобусной остановке или машинам. Какой-то запоздавший пузатый дядька, боязливо переступая босыми ногами, спешил к воде, живот у него колыхался.

— С подвесным бачком дядечка, — усмехнулся Колумбыч.

— Давай домой, — сказал Адька. — Хватит на первый день.

Вечером Адька начистил югославские мокасы, извлек из чемодана чешский костюм и финскую нейлоновую рубашу. Все эти вещи покупались по случаю в Хабаровске, Владивостоке или Новосибирске и валялись на базе в обшарпанном чемодане — тоже в ожидании случая. Завязывая галстук, Адька подумал о ребятах, у которых тоже вот сейчас во въючных ящиках или обшарпанных чемоданах валяется такое же барахло, ибо покупали они всегда вместе.

Южный вечерний сумрак шел в окно. Адька подумал, что сейчас там уже четыре утра, ребята на базе спят мертвым предутренним сном, а те, кто дежурит на вершинах, дрогнут в спальных мешках, а может, уже встали, чайник коптит в смолистых ветках кедровника, одинокие наблюдатели тянут к огню ладошки, отблеск огня пляшет на чехлах приборов, на карабине, что висит всегда под рукой, ибо страшновато бывает в темный предрассветный сумрак и очень бывает одиноко, когда едва прорезается синяя полоса рассвета, потом эта полоса постепенно краснеет, и, хотя в долинах еще ночь, на вершине ты уже видишь рассвет, потом видишь красный, совсем неяркий, так что можно смотреть, край солнца, птицы начинают пробовать голоса, прячется ночная нечисть, и тут ты уже не один, одиночество кончилось.

Адька вспоминал, как частенько в такие минуты к нему подымался на вершину Колумбыч и вынимал из кармана

найденный по дороге и обернутый листом кусок свежего медвежьего кала, они подолгу рассуждали, когда тот медведь мог пройти и куда он направлялся, где его можно поискать, если утренние наблюдения пройдут благополучно. Иногда Колумбыч приходил позднее, когда Адька был уже занят работой. Он приносил на связке свежих, пахнущих водой хариусов, которых наловил по дороге, и пек этих хариусов на костре, а Адька, прильнув к окуляру теодолита, ловил черный цилиндр на тригонометрической вышке соседней вершины, запах печеной рыбы бил в ноздри, запах печеной рыбы, хвои и перекипевшего кирпичного чая. Он думал обо всем этом, и ему расхотелось идти на свидание с акробаткой, а просто хотелось посидеть вечер с Колумбычем, выпить красного вина из винограда «изабелла» и повспоминать былое. Он даже подумал успокоенно, что не надо никаких выкрутасов, конечно, Колумбыч вернется, не может быть, чтобы он мог привыкнуть, врассти в эту крикливую, нелепую южную жизнь. Не может человек к ней привыкнуть, пока работает сердце и ноги еще способны шагать по горным склонам. Затягивая узел галстука, он подумал чуть не с яростью: почему, в сущности, он обязан крутить какие-то нелепые романы и какой пошляк и идиот все это выдумал? Все-таки без пятнадцати восемь он вышел из дома.

В темноте город казался совсем другим. Акации бросали таинственную тень на тротуар, и прохладный воздух был пропитан запахом этих акаций, запахом юга. В бликах фонарей проходили медленно тихие пары, от городского парка неслись тревожные звуки оркестра. Адька остановился и закурил. Ему необходимо было закурить, чтобы успокоиться. Ночь, далекий оркестр и запах юга волновали его. Он медленно шел на оркестр, и ему казалось, что вот сейчас из калитки соседнего дома выйдет дама в длинном белом платье, с зонтиком и в шляпе с большими полями. Он всегда представлял таких дам, когда читал Тургенева или Чехова, ему нравились женские моды тех далеких времен. Адьку обогнали четверо оживленных парней. Они шли быстро и собранно, как на охоту, после них осталась волна сигаретного дыма и запах одеколона.

Парк с неизменной Доской почета и гипсовой пионеркой перед входом был ярко освещен. Акробатки, конечно, еще не было, Адька и не надеялся, что она придет сразу. Минут пять он изучал фотографии на Доске почета: напряженные, с желваками по скулам лица мужчин и заретушированных женщин в белых кофточках. Официантки, сантехники, продавщицы. Адька отошел от Доски почета, которая была неотличима от такой же в Хабаровске, Благовещенске или Сковородинове, и сел на лавочку. Духовой оркестр на невидимой танцплощадке умолк, взамен его тут же репродукторным ревом грянул разудалый джаз. Джаз отгрезмел вступление, и в микрофон зашептала, заговорила, закричала зарубежная певица.

И тут Адька увидел акробатку. Он бы и не поверил, что это была она, но девчонка шла прямо к нему и улыбалась.

Та замухрышка с обожженными до коричневых пятен лицом исчезла, переродилась, возникла вновь: таинственное существо с полупудовой короной рыжих волос, с мерцающими темными глазами.

«Старик, не подкачай!» — прошептал Адька самому себе.

— Здравствуйте, — сказала акробатка, как будто это не она сегодня утром болталась с ним в море и с первой же минуты звала Адьку на «ты».

— Добрый вечер, — с пересохшим горлом сказал Адька. — Я тут ваших знаменитостей изучал, — он мотнул головой на Доску почета.

— А-а, — сказала девчонка. — Тоже мне знаменитости! Там моя мама есть, уборщица, — без всякой последовательности сказала она и тут же перескочила: — Ийдем потанцуем.

— Не обучен, — сказал Адька.

— Посиди тут, — сказала девчонка повелительно. — Я пойду минут пятнадцать попляшу и приду.

Адька уселся на лавочку перед отгороженной проволочной сеткой площадкой.

«Сеточка-то как у Колумбыча в загоне для кур», — язвительно подумал он. Снова захрипел репродуктор, и опять рывкнул джаз. Народ стал отлепляться от сетки, парни выбрасывали сигареты, и через пять минут на площадке уже творилось танцевальное столпотворение. Он тщетно пытался найти в этом столпотворении акробатку, мелькали какие-то твистующие пары, какие-то школьницы, которым давно пора спать, толстяк в шелковой тенниске тоже пытался делать твист на пару со своей распаренной дамой, два долговязых пацана усердно работали руками и коленками друг перед другом. Адька уже почти услышал привычный административный окрик: «Прекратите безобразничать!» — но окрика не было, и пацаны изнемогали от своих выкрутасов, пока не изнемогли совсем, и тут он увидел акробатку. Она танцевала с тем самым двухметровым десятиборцем, которого он утром видел на пляже, танцевала, запрокинув голову, чтобы видеть лицо верзилы-партнера, твист у нее получался хорошо, красивый был у нее твист, и у парня он тоже получался хорошо. Адька чувствовал, что ревность его так и одолевает.

«Еще чего не хватало», — подумал он. Репродуктор все выкидывал музыку, видно, это была нескончаемая пластинка, а может, какая бесконечная магнитофонная лента, пыль от шаркающих и топающих ног поднималась над площадкой.

Адька вытащил сигарету, отломил фильтр и выбросил его. Потом сразу же прикурил вторую сигарету, тоже отломив от нее фильтр. Джаз стих.

«Еще чего не хватало», — снова подумал Адька.

Мимо прошел генерал. Генерал был маленький, толстый и лысый, в галифе с широченными красными лампасами и

буденновскими усами. Жена у генерала была совсем сухонькая седая старушка в длинном лиловом платье, и генерал тоже был очень стар, может быть, он воевал в свое время рядом с Буденным. Заслуженная чета медленно прошла мимо Адьки, и, глядя на них, он настроился на философский лад. Ни черта ведь страшного не случилось, просто он одичал малость среди гөр и болот, и что из того, что другие люди находят радость в иных, не Адькиных, вариантах?

«Да,— подумал Адька.— Леший его знает, куда еще занесет меня судьба, может быть, придется работать где-нибудь на Кавказе или, хуже того, в Крыму, и я тоже буду загорелым, крикливым и наглым».

Он и не заметил, что репродукторный джаз стих, снова заиграл духовой парковый оркестр, и заиграл он на сей раз непреходящую ценность — «Амурские волны». В нужный момент лязгали бронзовые тарелки, ухал барабан.

Под вечно печальную, с пеленок знакомую музыку Адька стал думать о том, что существуют на свете тысячи профессий, и в них работают тысячи великолепных нужных людей, и этим умным людям, наверное, его образ жизни, с работой, которая на треть состоит из работы выючных лошадей, и еще на треть из простого бессмысленного выжидания пресловутых «погодных факторов», показался бы на две трети недостойным, лишенным целенаправленного и плодотворного бытия, каким должен жить человек. И люди, которые так думают, безусловно, правы, и он, Адька, тоже прав, ибо даже в мыслях не мог себе представить, как бы он ходил по заводскому гудку к восьми, стоял бы у станка до четырех, а вечером кино, телевизор или футбол, а завтра опять к восьми, и так год за годом, в точности по ходу часов, без всякого разнообразия.

Потом Адька стал думать о том, что у него сейчас много денег, даже очень много, ибо два с лишним года их негде было тратить, и тут еще отпускные, и надо проехаться по всем этим южным местам, всем этим мраморным лестницам, аллеям, потом осесть где-либо в тишине, где нет ни одного типа в соломенной шляпе и расписной рубахе, засесть около моря, ибо среди всего этого юга одно море не показуха, даже курортники не в силах его опошлить, а потом ехать обратно. Человек только на своем месте, в своей обстановке — человек, это он понял давно, наблюдая рабочих, нанятых из таежных дедов, и что получалось из этих дедов, когда они вывозили их в город, или просто в большой поселок, или просто в незнакомую обстановку. «Есть типы, которые всюду на своем месте,— думал Адька,— так у этих типов просто нет своего места».

И тут Адька услышал смех. Оказалось, что акробатка сидит на скамейке напротив, смотрит на него и смеется.

— Я уже десять минут на тебя смотрю, — сказала она, — Ты зачем у сигарет фильтры отламываешь? Нервничаешь, да?

— Очень надо,— сказал Адька и увидел верзилу. Тот подошел к акробатке, подчеркнуто не замечая Адьку, и взял ее за руку.

— Пойдем. Сейчас эта плешь кончится, музыку заведут.

— Нет,— сказала акробатка.— Я больше танцевать не пойду.

Она выдернула руку.

— Ну-ну, как знаешь,— протянул верзила и теперь уже посмотрел на Адьку.

Он посмотрел на него в упор, словно оценивал Адькины физические, финансовые и прочие возможности.

— Как знаешь,— повторил он и пошел к танцплощадке, преуспевающий бог побережья. Акробатка пересела к Адьке.

— Мы как-то и не познакомились,— сказал Адька.— Меня Адик зовут, или Адька, дурацкое имя, где только его мои старики откопали.

— Лариса,— сказала акробатка.— Тоже не блеск. Пойдем походим.

Они прошли в аллею из подстриженных темно-зеленых кустов, здесь было полутемно, на скамейках сидели парочки, на каждой скамейке по парочке, потом вышли на улицу. Асфальтовая улица была сейчас пустынна, ее освещали только витрины.

Потом они свернули в боковой переулок, и асфальт сразу кончился.

Неровный, избитый ямами булыжник переулка сбегал вниз, к Кубани, и сама Кубань мерцала вдалеке в лунном свете, как лунная лента.

— Осторожно иди,— сказала Лариса,— тут ноги с непривычки сломает.

Она сняла туфли и пошла босиком.

— Земля прохладная,— пожаловалась она.— Простуду можно схватить.

— Фокусником надо быть, чтоб здесь простуду схватить,— сказал Адька.

Стены саманных домов белели в темноте. Каждый дом был отгорожен забором, и за каждым забором, когда они проходили, надрывался пес.

— Почему окна темные? — спросил Адька.— Неужели спят?

— У нас рано спать ложатся,— сказала Лариса.

Адька споткнулся и через несколько шагов снова.

Ботинок начал шлепать по камням, Адька понял, что оторвал подметку.

— Подметку оторвал на импортных корочках,— сказал он.— Придется завтра искать другие.

— Снеси на рынок,— сказала акробатка.— Там безногий дядька тебе сразу сделает.

— На море завтра пойдем? — спросил Адька.  
— Я завтра на «Волге» к лиману уеду с мальчиками. Будем в палатке жить, — сказала рассеянно Лариса.

— Это что за мальчики? — спросил Адька.

— Так... мальчики, — нехотя сказала Лариса. — Один хороший мальчик. Изумруд.

— Ну-ну, — мужественно сказал Адька. — Я тоже скоро уеду. Уеду куда-нибудь деньги мотать.

— Зачем мотать? — сказала акробатка. — У меня никогда денег не было, и я не знаю, как их мотать.

— Ну конечно, — сказал Адька. — Платье на тебе модерн и все прочее.

— Я это платье сама сшила. А чтоб туфли купить, два месяца голодом сидела. Ты когда-нибудь голодом сидел в физкультурном институте?

— Физкультура для женщины вредная профессия, — сказал Адька. — Стареют женщины быстро.

— Не постарею. Я за собой слежу очень. Долго хочу красивой быть.

— Говорят, бездельничать надо больше. Спать много. И на диете сидеть, тогда до пятидесяти лет семнадцатилетней будешь.

— Мне бездельничать нельзя. Я с седьмого класса работаю, — сказала акробатка, — с седьмого класса себя кормлю и одеваю.

— Ларка! — донесся крик из-за забора. — С кем ты там?

— Мать, — прошептала акробатка. — Всегда меня караулит. Иду! — сказала она громко.

— Ладно, — сказал Адька. — Я пойду. Счастливо отдохнуть в палатке. Изумруд — привет. Кажется, у Льва Толстого так лошадь звали. Или жеребенка. Не помню точно. Пока.

Адька стал подниматься вверх по шербатову булыжному переулку, но потом передумал и пошел вниз, к Кубани. Саманные домики кончились. Адька прошел в темноту через какую-то свалку и очутился в стене ивняка. Ивняк скрывал реку, тропинки в темноте тоже не было видно, но теперь Адька чувствовал себя на месте, почти как в тайге, и, забыв про чешский костюм, он стал продираться сквозь эти кусты, он знал точно, что не потеряет в темноте тропинки и направления. Перед рекой шла широкая глинистая отмель. Свет луны отражался в воде, и от луны и от этого отраженного света казалось совсем светло. Адька засучил брюки и стал пробираться к воде. Оторванная подметка шлепала по мокрой глине. У самой воды лежало несколько выкинутых недавним паводком коряг.

На душе у Адьки было муторно, и он презирал себя.

Город утонул в непроницаемой тьме, и только главная улица наверху светилась огнями редких фонарей. Собаки тоже, видно, спали, тяжелая тишина висела над спящими домами, тишина и запах деревьев.

Адька все шел и шел и где-то на повороте вдалеке увидел зарево костра и кольцо людей вокруг него.

— Наплевать, — сказал Адька. — На все наплевать в самом деле.

Он шел и шел вверх по дороге, она казалась бесконечной, белая и таинственная. На обочине в траве зеленым светом горел одинокий светлячок. Адька положил его на ладошку. Прохладное загадочное существо не потухло на ладони, а дружески стало светить ему, Адьке.

Адька понес светлячка на ладони. Он долго шел по дороге, два раза закуривал, а когда закуривал, то клал светлячка на землю. Костра не было отсюда видно, музыка и шум уже не доносились, а дорога все шла. Наконец Адька почувствовал, что она выполаживается к перевалу.

На перевале громоздились какие-то невысокие скалы. Адька пощупал рукой рыхлый и ломкий известняк. Камни еще хранили тепло ушедшего солнца. Адька долго трогал рукой камни, ему приятно было ощутить их в этой глинистой пыльной стране, ибо много ночей он провел один на один с камнями вершин и свyksя с ними. Он пробовал разбудить сентиментальные воспоминания об оставшихся вдалеке друзьях, но ни черта не получалось. Ребята на работе, он в отпуске — вот и вся аксиома.

Сбоку от скал сквозь деревья был виден блеск звезд, отражавшихся в каком-то водоеме. Адька пошел туда. Водоем оказался большой и черной лужей. В луже шевелилось и всплескивало, а по временам всплывало что-то большое.

Адька зажег спичку и увидел, как в двух шагах сидит и оторопело смотрит на него лягушка. Спичка потухла, и лягушка со страшным плеском бухнулась в воду.

«Чудеса! — подумал Адька — Тут на перевалах лягушки живут».

Он сел на обломок какого-то ствола и стал думать о жизни. В ночной темноте жизнь казалась серьезной, значительной и звала к выполнению долга. Какого — Адька не мог себе четко представить, ибо до сих пор честно выполнял все долги, но сознание долга было.

Подумав о долге, он решил спускаться вниз, ибо суматошный Колумбыч поднимет тарарам на весь свет с его поисками.

Ему пришлось вернуться, ибо он забыл светлячка на опустевшей сигаретной коробке. Тот покорно дожидался Адьку, не пытаясь удрать. Адька доставил его на прежнее место и, выругав себя сентиментальным ошалевшим балбесом, отпустил на свободу.

Колумбыч не спал. Он сидел на крылечке и курил трубку. Трубку Колумбыч курил только в ответственные или особо блаженные минуты жизни. Адька не знал, какая причина сейчас заставила Колумбыча схватиться за «Золотое руно».

— Ты где шляешься? — спросил Колумбыч. — Я полгорода обегал, тебя искал.



— А чего меня искать? — сказал Адька. — Я на Кубани был.

— Дурак, — сказал Колумбыч. — Он в новом костюме на Кубани сомов ловил.

— Ловил, — упрямо сказал Адька. — Смотри, мне сом подметку оторвал.

— Подрался?

— Не успел. Повода не было.

— А здесь без повода. Здесь ребята острые, приезжих не любят. Особенно если девчонка вмешается.

Они отмыли в тазу Адькины брюки и ботинки.

— Лавсан, — сказал Адька. — Роскошная вещь. Поведем — и завтра будут новые, глаженные штаны. А ботинки придется в мастерскую.

— Какая, к дьяволу, мастерская! — сказал Колумбыч. — Неси полено.

Пока Колумбыч прилепывал молотком подметку, Адька переоделся в свои замызганные техасы, старую ковбойку и почувствовал себя человеком. «Мужская компания, — подумал он, — лучшее общество. Без причесок и выкрутасов».

— Отчего, Колумбыч, среди мужиков себя лучше чувствуешь?

— Ха, — сказал тот. — Я б тебе ответил на этот вопрос десять лет назад, когда от жены удирал.

— Нам жениться никак нельзя, — сказал Адька. — Ты вспомни Копейникова. Что с ним из-за жены творилось.

— Нет, — ответил Колумбыч. — Нет, нет и нет! — С каждым «нет» он загонял по гвоздю в Адькин ботинок. — Я отчего удрал — она рожать не хотела. А я сына хотел. А потом уже поздно. И приехал я к вам. Вы для меня были как семья, понял?

— Не пора ли вернуться в семейку? — сказал Адька.

— Нет, — сказал Колумбыч и положил молоток. — У вас все впереди, а у меня все в мемуарах. Уж лучше я буду здесь. Ты думаешь, мне одному две бочки вина надо? Для вас, дурачков, покупал.

— Ребята говорят, чтобы ты ехал, — сказал Адька.

— Подумаешь! — усмехнулся Колумбыч и взял молоток. — Я еще в Краснодаре по твоей физиономии прочел все, что ребята говорят.

— И что решил?

— Отстань ты от меня, — сказал Колумбыч. — Я уже старый. Я уже в Азовском море замерзаю, меня кровь не греет.

— Надо, Колумбыч, — серьезно сказал Адька. — Ведь тебя не ради прекрасных глаз просят приехать.

— А я всю жизнь жил со словом «надо». Всю жизнь

под военной дисциплиной. Ты спать хочешь, а тут тревога. И наплевать, что она учебная, — вскакивай как ошалелый и начинай орать на других, кто быстро вскакивать не умеет. У вас тоже так, тоже дисциплина. Устал я от тревог, пойми меня. Я с курицами разговаривать хочу.

— Уеду я от тебя, — сказал Адька. — Частник ты, собственник махровый.

— Я тебя виноград завтра заставлю обрезать, — сказал Колумбыч. — Тебе бездельничать для головы вредно.

— В пустыне Гоби дует ужасный ветер, — хамсин, — усмехнулся Адька. — Неужели ты все забыл, Колумбыч?

— Отстань ты от меня, — повторил Колумбыч. — Везде дуют свои хамсины, и здесь тоже. Ты тут еще ничего посмотреть не успел, а уж готов Азовское море заплевать презрением. Если ты о земле ничего не знаешь, как можно ее презирать?

## 7

Колумбыч и впрямь заставил Адьку работать на винограднике. На адовой жаре Адька ходил меж шпалер и щелкал ножницами, обрезая отбившиеся в сторону бесплодные побеги.

Работа была на редкость нудной. Пропитанный зноем и зеленою воздух стоял между шпалер недвижимо, дурацкие ножницы быстро намозолили руку, а главное, трудно было понять, какая ветка нужна, а какая нет. Вдобавок с трех сторон, из-за трех заборов припелись соседи, все, как один, пенсионеры, и с высоты своего опыта начали поучать, разъяснять и рассказывать. Потом два соседа ушли и остался только один, его дом примыкал к Колумбычеву. Седой старикан, капитан дальнего плавания. Восьмой десяток сильно его сгорбил, но в нем еще держалась какая-то морская мальчишеская хватка, и Адьке это нравилось.

Он посмотрел на Адькины брюки с заклепками и сказал:

— Раньше мы такие всегда в Сингапуре покупали. Так и звали: сингапурские штаны. Приходим в Сингапур, и вся команда на берег — за штанами. Крепкая вещь.

Адька обрадовался случаю потолковать о Сингапуре и бросил ножницы. Через несколько минут к ним присоединился и Колумбыч.

— А чего мы здесь сидим? — сказал капитан. — Пойдем ко мне сливянку пробовать, — и тут же зычно, даже удивительно было, что в сгорбленном стариковском теле мог сохраниться такой пиратский голос, рявкнул в пространство: — Маня, добывай сливянку, гостей веду!

Они крепко пришвартовались у капитана на прохладной веранде. Десятилитровая бутылъ со сливянкой, добытая из

глубокого цементного подвала, тоже была прохладной, и ее лиловые чуть отпотевшие бока приятно холодили ладони. Жена у капитана оказалась ему под стать — до белизны седая, приветливая старушка, она больше даже походила на его сестру, чем на жену. Два здоровенных рыжих кота расхаживали по веранде, оббитой плющом, и, мурлыкая, выцогивали рыбы головы.

Сливянка оказалась до ужаса крепкой и вкусной. В шестом часу вечера они все еще сидели за столом и слушали повести о капитанах былых времен.



— Сейчас капитанов нет, а раньше были. Попал я очень давно на угольщик «Трапезунд». На судне — кошмар. Команда разболтана, на палубе грязь. А капитана нет. Никто его не видит. За весь рейс из каюты не выглянул. В Индийском океане попали мы в шторм. Страшный шторм, кидает нас по килю и борту так, что того гляди кувыркнемся. И в этот ураган вдруг вылезит на палубу маленький старикашка. Встал раскорякой на мостике и как закричит ужасным голосом: «Что я вижу? Корабль это или свинарник? Боцман! Немедленный аврал на уборку!» Высыпали мы по боцманской дудке драить и чистить все подряд, а над нами висит страшный рев и проклятья капитана, такие загибы, что даже сейчас мороз меня по коже берет. А потом шторм стих и капитан исчез. Но все мы уже знали: есть капитан!

Через час Адька с Колумбычем, дружески поддерживая друг друга, шли к своему дому.

— Колумбыч, — говорил Адька, — а как же виноград не обрезан, от вредных насекомых не опрыскан? Погибнет природа.

— А ну его, — отвечал Колумбыч. — Завтра. Все завтра. Сельское хозяйство — утомительная вещь.

Вслед им неслось:

— А около Фарерских островов в Атлантике после войны прибегает ко мне помощник: «Капитан! Справа по борту мина!» — «Ну и что?» — говорю я спокойно...

Голос морского волка стал помаленьку слабеть и глохнуть в глубине комнат. Многоопытная капитанская жена знала свое дело.

## 8

Летние дни прыгали, как целлулоидные шарики, с бездумным легким постукиванием в бездумном хаосе, но для Адьки прыжки этих шариков были ограничены по крайней мере двумя стенками. Первой стенкой была необходимость уговорить Колумбыча, а второй стенкой, ах, являлась акробатка.

Конечно, они встретились с ней после ее поездки с мальчиками, среди которых был и Изумруд. Встретились они на пляже, куда прикатили с Колумбычем после попыток привести виноградуники в надлежащий вид.

— Ну его к псам, — сказал Колумбыч. — Ты знаешь, он в Уссурийском крае просто в тайге растет. И ни черта с ним не делается.

— Правильно, — сказал Адька и зашвырнул ножницы. — Едем обмывать трудовую пыль.

Казалось, что в этом дурацком городе имелся только один «Запорожец», а так сплошные «Волги» по шоссе, и Колумбыч компенсировал чувство неполноценности тем, что старательно «делал» каждую «Волгу». Водитель он был

классный, еще с монгольских времен, и мотор, надо отдать должное аккуратисту Колумбычу, у него всегда был отрегулирован до тонкости. А может, все дело заключалось в том, что за рулями тех «Волг» сидели пузатые собственники-копеечники, у которых страх за добро начисто съел самолюбие.

На пляже Колумбыч миновал стоянку, что размещалась на площадке плотного грунта рядом с дорогой, проехал дальше и лихо, с разгона взлетел на песчаный вал, отделявший полоску пляжа от простой суши. Так он и встал в высоте, маленький зеленый «Запорожец», над всей человеческой суеютой и грохотом, а люди и прочие классные машины были просто внизу. Колумбыч на сей раз не похвастался, но ехидная радостная ухмылка так и растягивала без того щелевидный рот.

Тотчас внизу из коричневого мельтешения вынырнула акробатка и побежала к ним, приветствуя Адьку словами:

— Адька, ты где ж пропадал?

— А ты уже вернулась? — спросил Адька. — Как отдых на лимане?

— Да ну их, — простодушно ответила акробатка. — Я вначале поехала, а потом передумала.

Сказала и оставила Адьку размышлять над загадочным смыслом этих слов. Сейчас она опять походила на свойского конопатого парнишку. Куда она ухитрялась спрятать в себе ту рыжеволосую мадонну с полупудовой короной волос и мерцающим взглядом, оставалось неизвестным.

— Поплывем? — сказала акробатка. — Тут одни склеротики и паралитики. Плавать умеют, а подалее уплыть боятся.

— Конечно, — сказал польщенный Адька.

И опять они болтались вдвоем на зеленой воде где-то около противоположного берега Азовского моря, и весь пляж с публикой, машинами и мачтой спасателей казался отсюда маленьким и ничтожным.

— Давай, кто глубже опустится, — сказала акробатка.

Они опускались в прозрачную зеленую воду, в которой можно было отлично видеть друг друга, только все казалось зеленым и расплывчатым. Там, на каком-то метре глубины, Адька ее поцеловал, после чего, конечно, пришлось спешно выбираться наверх, ибо воздуху не хватало. После того как они отдышались, акробатка посмотрела на Адьку и хмыкнула так, что его бросило в жар, несмотря на прохладу воды и вообще неподходящую морскую обстановку.

Весь этот день акробатка вела себя по-ангельски и не покидала их трио из Адьки, Колумбыча и «Запорожца»; домой она возвращалась вместе с ними, а вечером они с Адькой отправились в кино на фильм «Брак по-итальянски».

Опять Адька провожал ее в благоухании южной ночи. Акации над асфальтовым тротуаром в темноте казались могучими столетними липами, звук шагов четко раздавался в тишине, и казалось, что они идут в каком-то тоннеле или черт его знает из каких детских воображаемых картинок взятой аллее средневекового парка. Он и она. Там, за спиной, за деревьями, прячется замок со всеми своими мостиками, рвами и силуэтными на фоне молчаливыми часовыми на гребне стены, а ему завтра ехать в Палестину бить нечестивых, а она будет ждать его три тысячи лет подряд и, между прочим, все эти три тысячи лет оставаться все такой же молодой и прекрасной.



Пятачки света от фонарей позволяли посмотреть друга друга при свете. Акробатка была молчалива на сей раз, и, когда Адька смотрел на нее в очередном световом пятнышке, она улыбалась смущенно и хорошо.

Около одноэтажного домика почты, где светилося в этот поздний час только крыльцо круглосуточного телеграфа, она сказала:

— Подожди, я к девчонкам забегу.

И убежала поговорить о чем-то с подружками, дежурными телеграфистками, а Адька сидел в тени акации за столом. Стол был окован жестью, на нем курортники, отсылающие пуды фруктов в ящиках с дырочками, упаковывали эти свои ящики.

Адька взволнованно курил, цикл его сумбурных мыслей можно представить примерно так: «Да-а, юг, черт возьми. Обстановка действует. И вообще...» О ребятах, которые маются сейчас с теодолитами на далеких горных вершинах или дронут в отсыревших спальных мешках, он не вспоминал.

Потом они спускались вниз по опасному для обуви переулку, и опять был ночной крик: «Ларка! С кем ты там?»

Он попробовал ее торопливо поцеловать, но она ловко подставила щеку и прошептала скороговоркой:

— Завтра увидимся.

Когда Адька вернулся домой, Колумбыч сидел за столом в очках. Очки он надевал, когда надо было что-либо мастерить. На столе на газетке лежала куча всяких приспособлений.

— Знаешь, — сказал Колумбыч. — Ложа-то у меня у ружья лаком покрыта, а у порядочных ружей она только с полировкой, без всяких лаков. С ореховым маслом отполирую — будет высший класс моя двустволочка. Осенняя охота скоро, а утки здесь — пропасть.

Адька ничего ему не сказал, посидел, посмотрел, как Колумбыч работает, всегда было приятно смотреть, как Колумбыч что-либо мастерит своими лапищами величиной с пол журнального столика каждая, и знать, что из этих рук обязательно выйдет вещь.

Потом Адька ушел спать счастливый. В палатке он долго лежал с открытыми глазами. На землю гулко хлопались недозрелые яблоки. Они попадали почти все, ибо зной иссушил землю, а до поливки у Колумбыча как-то не доходили руки. Во тьме южной ночи собаки вели разговор из одного конца городка в другой, иногда по улице с приглушенным треском проносился мотоцикл: шла сложная потайная жизнь городка.

Адька чувствовал спиной, как где-то на необозримой глубине под ним дышат, шевелятся и живут земные пласты глинистой майкопской толщи, той самой, о которой Адька знал по геологическому курсу в институте, что она дает нефть. Адька успел уже заметить, что в здешних краях нет

привычных ему камней, а есть глина разных цветов и немного плохого песка.

Ему еще много ночей предстояло пролежать вот так в палатке с открытыми глазами. Легкомысленное прыганье целлулоидных шариков завораживало, и весь план Адькиного отпуска летел к черту. А он должен был, именно должен, а не то чтобы здорово хотелось, посетить еще все эти Ялты, Мисхоры, Симеизы и прочие Сочи, чтоб потом твердо ответить как положено: «Был на юге». Может, даже и пластинку привезти: «О море в Гаграх...» — или что там сейчас привозят. И фотографии: куча ничем не примечательных типов, на углу фотографии надпись: «Гурзуф. Скала Трех Любовников. 196...» И указывать пальцем — это вот я. И хранить эти фотографии до гроба, а потом, когда будет свой дом и, естественно, гости, которых нечем занимать, вынимать из комода на вежливую муку пришедшим.

Но все это летело к черту, ибо Колумбыч вел себя как впавший в склероз конь, не желающий понимать простых вещей. Он уходил от серьезного разговора под предлогом забот о большом хозяйстве: крышу красить, яблони окопать, виноградник весь зарос, забор надо чинить, пса подстричь, построить хозяйственный настоящий сарай, где будут зимой храниться лодка и лодочные моторы, и так без конца.

Но Адька ясно видел, что все это хозяйство идет само по себе, все зарастает и забор не чинится. Начав чинить забор, Колумбыч вдруг вспоминал о машине и уже не отходил от нее сутки, регулируя какой-то волосяной зазор в зажигании. А когда Адька предлагал строить этот пресловутый сарай, Колумбыч вдруг начинал сортировать патроны и вообще ревизовать охотничье хозяйство — охота-то осенняя на носу.

Все-таки в один из вечеров Адька заставил Колумбыча заговорить.

— Что ты, Адик! — сказал Колумбыч. — Я уже поистаскался и к дальним перемещениям не способен. Здесь мой дом и окончательная крыша. А интересного я и тут кучу найду. Знаешь, какие на Тамани идут раскопки?..

Адька пресек разговоры о таманских раскопках.

— Не могу бросить, — сказал Колумбыч. — Оставить так — все придет в полную разруху. Здесь это быстро делается. Продать — ну подумай, в мои годы и опять без угла своего и вообще с неясными перспективами. Оставайся лучше ты здесь. Проживем.

Столь наглого предложения Адька не ожидал, и упрямство его ожесточилось.

А с акробаткой дело обстояло не лучше. Она вела себя примерно так, как ведет себя знак электричества на выводах динамо-машины переменного тока. То он видел ее на пляже среди кучи парней, которые, сделав из рук мостик, подбрасывали ее в воздух, а она крутила двойное сальто. Адька смотрел и сгорал от ревности. То она говорила: «Шумно очень, давай отойдем», — и они отходили в сто-



ронку и лежали на ракушке, а она сыпала на Адьку эту ракушку из ладони и бормотала разную женскую чепуху, которую приятно слушать. Внешние ее метаморфозы были просто поразительны. Иногда они днем ходили по городку, выбирая какие-то нужные ей пустяковые покупки, и все встречные мужики прямо брякались на знойный песок от нахлынувших чувств и зависти, что такая девушка идет под руку с Адькой, а не с ними. Наверное, у Адьки был слишком многообещающий вид готового на все человека, и поэтому приставать, заговаривать и даже отпускать замечания они не решались.

Вечера они проводили в основном вместе. Именно в основном, ибо она частенько вдруг бросала Адьку: «Подожди, мне надо поговорить вон с тем мальчиком», — и говорила с ним по часу и больше, а он должен был изучать витрины. Плунуть на все, повернуться и уйти было делом бесполез-



ным. Адька и это пробовал, но она через час приходила к ним, вызывала Адьку и спрашивала простодушно: «А чего ты меня на улице бросил?» Простодушные ее обезоруживало, оставалось только клясть свою душу, способную на грязные подозрения. Иногда она попросту исчезала.

Колумбыч в этих делах был не советчик, да и вообще за все годы самых задушевных бесед они никогда не касались женского вопроса.

С горя Адька стал ходить в заведение буфетчика Ильи и там искать забвения в обществе Трех Копеек. Адьке требовалось не вино, а та доза вяло-циничного отношения к жизни, которым Три Копейки был так и пропитан.

Адька клял свое сибирское упрямство, без него было бы проще. Далась ему эта акробатка, вон сколько девчонок ходит, да и без них можно прожить. И пусть Колумбыч остается со своим заросшим огородом.

— Упрямство — опасная вещь, можно сказать, подсудная, — сказал ему Три Копейки. — У моего друга инспекция сети сняла. Он из упрямства поставил их опять на том же самом месте. Их опять сняли. Он из того же упрямства поставил третий раз — теперь отбывает. У инспекции тоже нервы есть, браток, как и у судьбы, запомни это.

## 9

С Колумбычем все оставалось по-прежнему. Старик ехать никуда не хотел и ловко увиливал от ответов. Начав опять чинить забор, он вдруг с остервенением переключился на постройку душа во дворе, чтоб спастись от жары. Взгромоздил на столбы жестяную ванну и так мудро пристроил, что стоило нажать ногой дощечку — так текла вода, отпустить дощечку — вода течь переставала. После этого Колумбыч плотно ушел в изобретение специального прицела для дробового ружья, так, чтобы из гладких стволов далеко стрелять пулей.

Акробатка вела себя не лучше и даже больше мыкала Адьку. Правда, у них появился сейчас укромный угол, метров за двести от ее дома, где они могли долго и тщательно целоваться в поздний час.

От всех этих бед Адька отупел и пал духом. Он только ждал, чтоб скорее кончился проклятый отпуск, ехать же никуда не хотел — зной и разлагающая южная обстановка высосали из него всякую инициативу. Он забрал у Колумбыча гоночный велосипед и часами гонял на нем по мглистым азовским пустыням. Адька отощал, с лица и спины у него уже слезала девятая загарная шкурка.

В одиноких мотаниях на велосипеде Адька стал помаленьку открывать для себя азовскую землю, древнюю Тмутаракань. Открытие началось для него с запаха полыни. Растение диких степей — полынь лучше всего пахла в вечерний час, когда земля отдает накопленный днем жар. За-

пах этот как бы концентрировал в себе целые тома русской давней истории. И удивительная статья здешних девчонок теперь не удивляла его, видно, эти стройноногие дивы просто унаследовали красоту амазонок, ибо именно здесь поселила амазонок фантазия древних греков и здесь находилось святилище Афродиты Апатуры, женского божества плодородия. Через эту землю бежала, спасаясь от гесперид, несчастная нимфа Ио, и, может, по дороге она успела родить и оставить здесь дочку, и именно отсюда не зря же была взята за чрезвычайную красоту жена для Ивана IV — «Шемаханская царица».

Древняя земля греческой Меотиды открывалась для Адьки сквозь посыл ветра в одиноких, сожженных солнцем травинках и блеске гигантских лиманов в закатном солнце.

Купаться он ездил все на том же велосипеде, но не на пляж, который возненавидел, а в район заброшенного порта, где остались только длинный цементный причал и обломки взорванных надолб времен войны. В Старый порт купаться ездили любители одиночества, и там Адька всегда видел двух девушек, тихих, почему-то печальных и прекрасных.

Он никогда с ними не разговаривал, а только так день на десятый стал здороваться. А разговаривать было не надо, так лучше — не знать, почему они вдвоем удалились от общества и почему печальны.

Дорога в Старый порт проходила мимо причалов действующего рыбацкого. Там стояли малогрузные сейнеры и шхуны, на шхунах тех сидели, свесив босые ноги с борта, моряки и удили бычков, а на леерах сушились мужские постирушки. Бродили по деревянным настилам жирные и важные морские коты. Адька думал иногда, что вот именно только сейчас, под конец, для него и начался отпуск, а так была — мука.

В конце августа у Адьки был день рождения. Он пригласил Ларису и старого капитана с женой. Больше приглашать было некого. Жена капитана взяла на себя заботу о столе и предложила нарезать пару кур для разных блюд.

— Конечно, — сказал Колумбыч и вдруг замолк. — То есть как? — сказал он наконец. — Нарезать? Марию-Антуанетту нарезать? И съесть? — Весь Колумбычев вид отражал напряженную работу мысли.

— Ну конечно, — сказала жена капитана.

— Не могу, — твердо отрезал Колумбыч. — Пусть их режет, кто хочет, и ест, кто хочет, а я не могу. И вообще непонятно. Есть же в Индии священные коровы, например.

Но, видно, сам факт, что куры, в том числе и Колумбычевы, для того и существуют, чтобы их в конце концов съесть, крепко Колумбыча надломил. Он стал странно задумываться.

День рождения прошел не особо весело. У старого капи-

тана в этот день сдало здоровье, и, отпробовав пару стаканов вина, он отправился на покой. Колумбыч был задумчив, а мадонна вообще никогда ничего не пила и тоже не очень веселилась.

— Знаете что, — сказал вдруг Колумбыч, — махнем-ка мы сейчас в Анапу. Засядем в приличном ресторане, как приличные люди, счистим с себя мох.

Закипела деятельность. Мадонна помчалась домой наводить лоск, Колумбыч и Адька начали хрустеть крахмалом с запонками.

Через полчаса Колумбыча можно было вполне везти к английскому двору: сухоощаая фигура в темном костюме, сен-симоновский нос и стальной блеск глаз на загорелом лице вполне допускали это. А мадонна превзошла себя. Ее волосы казались сделанными из тяжелой меди, приходилось думать о том, как может тонкая шея выдержать эту тяжесть, и потому жалеть и оберегать эту девушку от бед.

В Анапе, в южном ресторане с пальмами в кадках, где был какой-то полуцыганский оркестр, и шорох моря доносился сквозь раскрытые двери, и имелась курортно-чадающая публика, они устроили загул. Какие-то люди были у их стола, был какой-то очень смешной актер оперетты с печальными глазами и очень много коньяка.

Проснулся Адька в машине и вначале долго старался понять, где он. Он видел потолок машины и сообразил, что лежит в верном «Запорожце», переоборудованном Колумбычем для кочевой жизни. Рядом кто-то дышал. По тяжести волос на своей руке Адька понял, что это мадонна. Он скосил глаза и увидел, что она спит, легко и доверчиво прижавшись к нему, вроде ребенка. Похмелья в голове не было, и Адька понял, что выпито не так уж много, а больше шума и вообще волнений. Он высвободил руку и выглянул в окно. Машина стояла у моря, в задах какого-то строения. От моря шел человек в тельняшке и нес два ведра воды. Было раннее утро.

— Эй! — окликнул человека Адька. — Где мы?

— В Анапе, браток, — ответил человек, прошел мимо и вдруг заржал по-лошадиному, развеселился. Мариса проснулась.

— Слушай, — сказал Адька. — Давай жениться.

— Давай, — сказала она, потерла помятую во сне щеку и чмокнула Адьку теплым ртом.

В окошко проснулась рука с бутылкой кефира.

— Кефир алкоголикам полезен, — сказал голос Колумбыча.

— Где ты ночь был? — спросил Адька.

— Знаем, да не скажем, — ответил Колумбыч.

Они поели кефиру с теплыми булочками, потом Колумбыч предложил заехать на пляж искупаться. Но перед этим они решили забрести в магазин и купить маску с ластами.

Чистенькая утренняя Анапа постепенно нагревалась солн-

цем. Около газировщиц уже начинали скапливаться маленькие водовороты очередей, потоки людей с пляжными кошелками двигались к морю. Поливочные машины разбрызгивали на асфальт первую воду.

В магазине пришлось долго выбирать маску, потому что сен-симоновский нос Колумбыча не желал в ней вмещаться.

Пляж здесь был не то что в их городке. Во-первых, он культурно отделялся от местности каменной оградой, во-вторых, внутри той ограды было негде ступить. С трудом они разыскали свободное местечко.

— Пойду поплаваю, — сказал Колумбыч. Он надел ласты, маску, просунул под резинку дыхательную трубку, потом лег зачем-то на песок и мгновенно уснул. Адька прямо зашелся от смеха, глядя на все эти манипуляции.

— Только ты и не думай, — глядя на киснувшего от смеха Адьку, сказала Лариса. — Ты и думать забудь про свою Сибирь.

Ветер донес до них жареный запах. Адька сориентировался и быстро отыскал будочку, где характерно толпилась кучка мужчин. Он помчался туда, взял палочку шашлыка и прибежал к Колумбычу.

Колумбыч, не снимая маски, шжевал шашлык, потом снял маску и сказал ясным голосом:

— Ну вот что. Хватит дурака валять. Я, Адька, еду на Амур, а ты как хочешь. За сегодняшнюю бессонную ночь я понял, что куры, огород и я находимся на разных полюсах. Или я огород угроблю, или он меня угробит. А раз я кур своих есть не могу, так зачем их растить? И потом сегодня ночью я прочел, что на юге переизбыток населения.

## 10

Адька с Ларисой зарегистрировали законный брак в загсе городка и стали жить в одной из комнат у Колумбыча.

Колумбыч же начисто ушел в сборы и приготовления к отъезду. Это была тысячелетне знакомая и вечно волнующая участников и зрителей процедура подготовки экспедиции. Колумбыч составлял списки, укладывал таинственные коробочки и ящички в угол комнаты и бурчал себе под нос загадочные слова.

Адька с Ларисой были заняты изучением и исследованием неизведанных континентов любви и семейной жизни, потому не особо досаждали Колумбычу, и потом Адька просто страшился приступить к решению возникшей перед ним главной проблемы. Но проблема та уже всплывала и начинала бурлить в ночных семейных разговорах.

В один из дней озабоченный Колумбыч сунул на ходу Адьке проштемпелеванную казенную бумагу. Это была дарственная на дом, приусадебный участок со столькими-то лозами винограда, столькими-то яблонями, сливами и абрико-

сами. Заверено нотариусом, уплачены пошлины, споры и налоги. Обо всем подумал в эти дни мудрый Колумбыч.

— Вот, — сказал Колумбыч. — Ты парень хозяйственный, у тебя пойдет. Взамен давай мне денег на дорогу. А работу здесь найдешь. Найдешь работу?

— Лариса узнавала, — подавленно сказал Адька. — Есть место землемера в сельхозуправлении. Землеустроителя.

— Ну и отлично, — сказал Колумбыч. — Ребятам я все объясню. Поймут.

Адька не сказал Колумбычу, что сегодня ночью был крупный разговор

— Нет, — сказала Лариса. — Никакие экспедиции не для меня. Ты же видишь, что я городская. Мне юг и море нужны. И муж нужен живой, а не отсутствующий, которого по три года ждать. Я ведь изменять не могу, потому мне трудно ждать мужа. Ты меня любишь или там речки-горки какие-то?

— Тебя, — сказал Адька.

Колумбыч отбыл на автобусе в Краснодар в сопровождении громадного багажа.

— Знаю я тех балбесов и остолопов, — объяснял он на стоянке. — У них, поди, сапог починить нечем, а про прочие деликатные работы и говорить нечего. Все везу, — и он любовно кивал на ящики.

День был мокрый, холодный, и было, как всегда, неуютно при прощании, когда один уже весь в дороге, его здесь уже нет, а у других мысли здешние. Колумбыч стоял в своем извечном коричневом плаще, лицо у него тоже было не шибко веселое. Загорелое, обветренное лицо пожилого человека, обдутого ветрами окраин государства, крупное лицо запойного бродяги, который, раз начав, где-то в далекой юности, уже не может остановиться или не считает пока нужным остановиться.

Колумбыч уехал. До землемеровой работы оставалось еще месяца полтора-два. Лариса должна была уехать на три месяца в конце октября, чтобы закончить счета с институт, и дни шли в осточертевшем безделье.

Адька стал освежать в памяти науку землеустройства и помаленьку знакомиться с задачами будущей работы. Шла семейная жизнь: завтрак, приготовленный женой, поход на рынок за продуктами, и еще он собирал у соседей советы, рецепты и правила ухода за культурным садом.

Грызущая печаль сидела в Адьке, и день ото дня червь ее становился все злее, и никакой велосипед, никакое ошалелое купание не могли от этого спасти.

В сентябре пляж опустел, как ветром сдуло кричащую, хохочущую коричневую толпу и исчезли самозабвенные вопли ребятни, что копошилась у кромок воды. Стояли только столбы ободранных зонтов, запертый на железные полосы павильон, где продавались чебуреки и вино, оставались неистребимые обрывки газет, которые ветер гонял по пляжу до тех пор, пока их не смоем и все не очистит волна осенних штормов. Адька полюбил ездить сюда и лежать в ложбинке между небольшими дюнами, слушать свист ветра.

Еще он любил взбираться наверх, на обрыв, где имелась какая-то неизвестного назначения башня давних времен, и смотреть с высоты на разноцветное от мелководья Азовское море. Около той башни он вспоминал загадочно запавшие в память стихи древнего китайского поэта:

Еду-еду, плыву  
Вдоль дороги в родные края.  
И считаю я дни,  
Когда старый завидится дом.

Куда он плывет и где его старый дом? И, размышляя об этом старом доме, который должен быть у каждого, ибо человек без корней — только полчеловека, Адька дошел до открытия, что он сделал солидную подлость, по крайней мере по отношению к Колумбычу. И уж тут, как ни крутись, необходимо ее исправлять, вроде Наполеона, который во время московского отступления как бы в виде наказания для себя часами брел вместе с солдатами по снегу, а его санки ехали рядом. Но в Наполеоне император взял верх над человеком, и он смылся на тех санках в Париж, а ему, Адьке, императорские штучки недозволены.

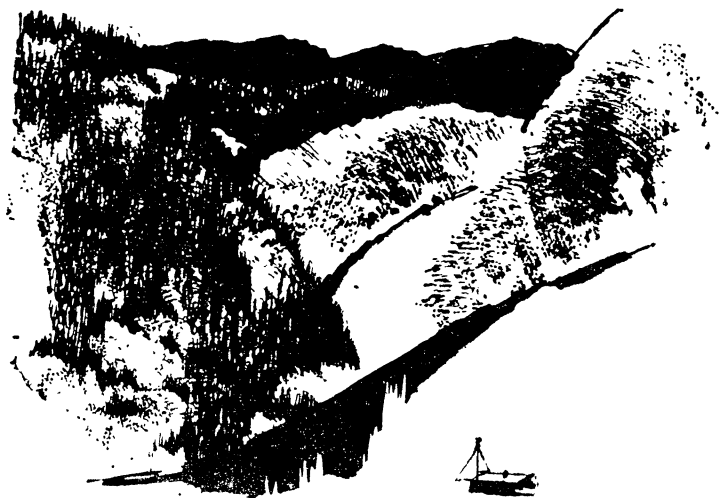
Оставалось дать сакраментальную телеграмму южного отпускника: «Шлите телеграфом деньги на дорогу», что Адька и исполнил в конце сентября.

Заглушая все печали, запела труба странствий. Труба та рождала энергию и четкую логику действий. Было много слез, первых семейных сцен и решительных объяснений. Но неумолчный зов трубы стоял надо всем, и тонкий пустынный звук ее звал к выполнению долга.

Автобус шел слишком медленно, и Адька пересел в такси, чтобы ехать сто сорок километров до Краснодара, а дорогой смотрел в затылок шоферу, чтоб ехать быстрее. В самолете он смотрел в дверцу пилотской кабины, чтоб сквозь ее металлическую преграду внушить пилотам, чтоб они быстрее гнали тяжелый реактивный лайнер, гнали к Хабаровскому аэродрому, где в ресторане «Аквариум» заливают горе вином потерпевшие крушение неудачники, коротают время до вылета сонмы горящих надеждами и радужными мечтами отпускников, летящих на юг, на каменных плитах и в современных креслах аэровокзала мается в ожидании бродячий северный и восточный люд — от могучих диктаторов золотых приисков до молодых специалистов и жилистых бывалых рабочих горных разработок.

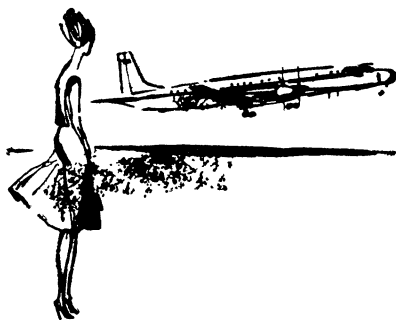
В городке после суматошного и исполненного волнений лета осталась одна Лариса, владелица трехкомнатного особняка, энного количества плодовых деревьев и удравшего мужа.

А самолет летел слишком медленно, ибо, кроме Адьки, он вез еще и тяжелый груз Адькиных жизненных шрамов: первых семейных сцен, слез и ночных объяснений. Хуже всего было то, что Адька оказывался в стане странного племени однолюбов. Шрамы на Адькиной душе с хрустом



оформлялись, а он думал о том, что часто скрывается за рядовой и привычной телеграммой «Шлите денег на дорогу», и вспоминал, как они всегда дружно гоготали над этими телеграммами и с гоготом отправляли посыльного с монетой до ближайшей почты. Его, мужская семья, конечно, сделала так же.

Отдохнул в общем Адька на юге. Впрочем, кто знает, чем все это кончится...





# УРАЛ, СТАНЦИЯ САН-ДОНАТО

Рисунки Г. ЮРЬЕВА

**К**акое странное, непривычное сочетание географических названий, не правда ли?.. Урал — сердцевина России, и вдруг — Сан-Дonato!.. Название «дворянского гнезда» в Италии на вывеске маленькой железнодорожной станции неподалеку от исконно русского города Нижний Тагил.

Сколько таких загадочных названий встречается нам, когда мы разъезжаем по стране или, на худой конец, «путешествуем» взглядом по ее карте! Привычное объяснение услужливо приходит на ум: «Игра случая, всякое бывает...» Да, это так, конечно... Но за-



---

гляните поглубже в историю хотя бы одной из таких «случайностей», и вы увидите, сколько закономерного и характерного стоит за ними.

Знаменательная история скрывается за этим странным и непривычным сочетанием слов, поставленных в заголовок.

**В** обширной летописи российской промышленности не было, наверное, более колоритной и типической эпопеи, чем эпопея знаменитой «династии» горнозаводчиков Демидовых... Предприимчивый тульский мужик Никита Демидов Антуфьев, самородок-умелец, искусный оружейник, волевой и энергичный человек, заложил в стремительное царствование Петра Первого в диких уральских горах фундамент гигантского частного капитала, который круто нарастал при его потомках, несмотря на их фантастическое расточительство.

Нижний Тагил стал главной вотчиной некоронованных королей-заводчиков... Трудно, пожалуй, найти в нашей истории более точный и яркий пример для пояснения известных слов «государство в государстве», чем уральские владения Демидовых в первый век их существования. Демидовы, среди которых особенно выделялся Акинфий Никитич, «казнили и миловали», содержали войско за свой счет и даже выпускали фальшивую серебряную монету в тайных, мрачных подземельях своего «замка». Колоссальные демидовские деньги могли купить кого угодно. И покупали... В ежегодных «Сображениях на потребность в деньгах», составляемых заводской конторой для хозяина, постоянно присутствовала графа «На известный Вам расход». В 1833 году на сей «расход» было отпущено, например, 27 тысяч рублей.



Первые «колена» демидовского рода, еще при Петре Первом сопричисленного к российскому дворянству, — кондовые мужики с мертвой хваткой удачливых приобретателей, сменились «коленами» последующими — несравненными «великанами» на поприще прожигания жизни. По воле судьбы на потомков основателей демидовских сокровищ прямо в их колыбели низверглась Ниагара русских рублей, и в течение всей их жизни этот могучий золотой водопад не убывал и не оскудевал.

Демидовы XIX века были кем угодно — французами, итальянцами, немцами, но только не русскими. Анатолий Демидов, к примеру, говорил почти на всех европейских языках, кроме русского. И донесения и отчеты его уральского управителя секретари Анатолия переводили для него на французский язык. Впрочем, делами своей «горнозаводской империи» Анатолий почти не занимался. Зачем? И так без малейших забот и трудов его ежегодный доход достигал двух миллионов рублей... Потомок крепостных тульских кузнецов, он женился на родной племяннице Наполеона Бонапарта, стал итальянским князем, купив этот титул вместе с великолепной виллой Сан-Донато в предместьях Флоренции. В этом поместье новоиспеченный князь завел даже свою «армию» — три тысячи «гвардейцев», облаченных в яркие мундиры. И все это на деньги, добытые десятками тысяч крепостных, гнувших спину на уральских заводах!

Вот отсюда-то и залетело это непривычное, итальянское название в самое сердце Урала. Во время прокладки Горнозаводской железной дороги, в пяти верстах от Нижнего Тагила и была построена станция Сан-Донато.

В «Горном гнезде» — романе Д. Н. Мамина-Сибиряка — один из последних «князей Сан-Донато» был выведен в образе миллионера-заводчика Лаптева. Писатель дал убийственно верную характеристику всей лаптевско-демидовской «династии»:

«Просматривая семейную хронику Лаптевых, можно удивляться, какими быстрыми шагами совершалось полное вы рождение ее членов под натиском чужеземной цивилизации

---

и собственных богатств. В Париже, Вене, Италии были построены Лаптевыми княжеские дворцы и виллы, где они коротали свой век в самом разлюбезном обществе всевозможного отребья столиц и европейских подонков... Эти мужицкие вырождайки представляли собой замечательную галерею психически больных людей, падавших жертвой наследственных пороков и развращающего влияния колоссальных богатств... Едва ли в европейской хронике, богатой проходимцами и набобами всяких национальностей, найдется такой другой пример, как подвиги семьи Лаптевых, которые заняли почетное место в скорбном листе европейских и всесветных безобразников».

Маленькая станция Сан-Донато на железной дороге, соединяющей Пермь с Екатеринбургом, выросла в своеобразный символ вконец выродившегося и обреченного на смерть общественного строя, в символ предельного, обнаглевшего, вызывающего паразитизма «хозяев жизни».

В октябре 1917 года этот строй был низвержен. Через год штыки контрреволюционного чехословацкого корпуса снова принесли в Сан-Донато и в Нижний Тагил старую власть. И, наверное, где-нибудь в ясноебесной Италии последние отпрыски демидовской «династии» вновь воспрянули духом в предвкушении прежней жизни, орошенной неиссякаемой золотой рекой с истоком на уральских заводах и с устьем во флорентийских палаццо и парижских салонах.

Отойдя далеко за Каму, почти к Вятке, Красная Армия весной девятнадцатого года вновь перешла в наступление на Урал.

Пройдем и мы вместе с вами этот страдный путь. Пройдем его с теми, кто пробивался здесь с боями летом 1919 года.

На Сан-Донато и Нижний Тагил наступала Особая бригада 3-й армии Восточного фронта...

Ядром Особой, которой командовал М. В. Васильев, псковский крестьянин и прапорщик царской армии, большевик с августа 1917 года, явились пролетарские голки, сформированные из рабочих Кизеловского промышленного района Перм-



ской губернии. Район этот неширокой полосой вытянулся на север от станции Чусовой вдоль железнодорожной ветки. Многие угольные копи и заводы принадлежали здесь «династии» Демидовых — Сан-Донато, и по воле символического случая через Сан-Донато в июле 1919 года прошли бывшие наемные рабы демидовского рода. Рабочие, из которых в недавнем прошлом выжимал жизненные соки гигантский пресс демидовского капитала, с винтовками в руках прорвались через горный Урал к станции Сан-Донато, чтобы это залетевшее из далекой Италии название снова стало лишь напоминанием о безвозвратно отошедшем прошлом, а не своеобразным символом ненавистной им действительности.

Давайте теперь перенесемся вместе с вами в июль девятнадцатого года, в Нижний Тагил с пригородной станцией Сан-Донато. Перенесемся туда, чтобы встретить стремительно наступающие полки Особой бригады.

Сорокатысячный город деревянными избами почти со всех сторон обступил широкий пруд. Тут же, на берегу, под голой, каменистой Лисьей горой, увенчанной кирпичной сторожевой башней, поднял свои черные трубы Демидовский железодобывательный завод.

Но притих и угас старинный завод, не подсвечивает красными сполохами низких ночных туч. Да и городок замер в ожидании. Белые бегут, красных еще не слышно...

Уральский писатель Алексей Петрович Бондин, коренной тагильчанин, слесарь, проработавший в цехе свыше трех десятилетий, был свидетелем этих дней, и он оставил яркое описание их в небольшом очерке, напечатанном сорок лет назад на страницах тагильской газеты «Рабочий».

Громко скрипят на пустынных и примолкнувших улицах бесконечные вереницы телег — через город тянутся обозы отступающих в Зауралье колчаковских дивизий... «Ползут, поднимая пыль по дороге, — писал А. П. Бондин, — кутаясь в ней, проходят, и на смену двигаются новые...» На телегах в беспорядке навален всякий скраб...

За телегами и по обочинам бредут белые солдаты. Вид у

них потрепанный, жалкий. Кто в сапогах, кто в увесистых заморских ботинках, а кто и босиком.

«Прошли обозы, прошли солдаты, — рассказывал А. П. Бондин, — только отсталые мелкие группы появлялись. Иные бросали в пруд винтовки и уходили в город, а иные прятались в лес, откуда по утрам по одному выходили просить хлеба и опять уходили.

Улицы точно вымерли».

И вот настало утро 19 июля 1919 года.

Тагильчане высыпали на улицы. Одни радуются, другие смотрят с напряженным выжиданием и испугом. А у третьих в натянутых улыбках застыло наигранное гостеприимство. Это у тех, у которых, как говорится, рыльце в пуху. Вот один из них, седовласый и дородный, шествует навстречу красноармейским колоннам и громогласно поносит заблаговременно сбежавшую белую власть:

— Мошенники!.. Трепаная банда!..

Тагильчане ехидно улыбаются. Они-то этого старца хорошо знают!.. Бывший купец, спекулянт, мукой торговал в голодное время. Три шкуры снимал с отчаявшихся людей за пуд муки и сокрушенно вздыхал да охал: «Эх, мало! Еще бы на один годок бог голоду дал, я бы тогда четвертными билетами стены дома оклеил!..» При колчаковской власти этот мироед выслеживал и выискивал большевиков, белой контрразведке их выдавал, а теперь встречать вышел, только серебряного подноса с караваем хлеба да солонкой не хватает.

Над головами рабочей демонстрации колыхались красные флаги. Над головами обывателей плывут, степенно покачиваясь, иконы и хоругви. На одной улице гремит:

Смело, товарищи, в ногу!..

А на другой тянут недружными голосами:

Величит душа моя  
И наполнится духом.



И вот они, наконец, красноармейцы!.. Запыленные, загорелые, бодрые. Поблескивают штыки под жарким июльским солнцем. «Серые колонны, подкрашенные красными пятнами знамен...» Полки Особой бригады, прошедшие за несколько дней через горный Урал.

Тяжел и долг был их путь сюда, в сердцевину Уральских гор. Он начался за сотни верст, с верховьев Вятки, где на рассвете 11 мая 1919 года Особая бригада взяла первый рубеж — Залазнинский завод. А потом два месяца непрерывных наступательных боев и походов со средним продвижением до 70 верст в сутки. И едкая пыль июльских дней была, наверное, на этом пути не самым тяжким испытанием... Сергей Николаевич Удников, помощник командира Кизеловского полка, писал позднее в воспоминаниях о том, как там, на Вятке, между Омутинским и Залазнинским заводами, был сделан бригадой первый шаг на пути к станции Сан-Дonato:

«Стояла весенняя распутица. Кругом бездорожье. К тому же между этими заводами прямой дороги вообще не было, и рабочие Омутинска дали нам проводников, чтобы тропинками выйти к Залазнинскому заводу. Местами пришлось брести по груди в ледяной воде, но никого это не останавливало».

Ледяные «ванны» для многих красноармейцев были делом вполне привычным. Связист бригады Константин Алексеевич Морзо-Морозов, который живет ныне в Перми, хорошо помнит ту весну.

Разлив речки Чепцы прервал связь бригады со штабом 3-й армии. Обходного пути, как ни искали, не нашли. Оставался один выход: перебросить полевой кабель через шестиверстную ширь половодья. Провод решили подвесить на шестах, укрепленных на плотиках, и на вершинах затопленных деревьев... Двое суток связисты под командой Сергея Незнамова и Константина Язева работали в снеговой воде и по пояс и по горло. Но связь была установлена. И по этому проводу из армейского штаба вскоре пришел приказ наступать, наступать на Каму, на Пермь, на горный Урал.

Вместе с полками Кизеловским и Верхнекамским — полками, состоявшими в основном из русских рабочих и крестьян, —



под знаменем Осфобой бригады сражался и 21-й Мусульманский полк... Конечно, это название отражало не религиозную, а национальную особенность: полк был сформирован из прикамских татар. В его ротах воевал коми-пермяк Павел Кашин.

Как-то раз ночью Павел исчез неведь куда. Через шесть суток он предстал перед командиром полка целым и невредимым и передал ему секретные штабные бумаги колчаковского корпуса. Кашин пробрался в тыл к белым, убил офицера и в его форме заявился в штаб корпуса, где ему и вручили важные бумаги.

...А вот проходит мимо нас по нижнетагильской улице конный отряд разведчиков. Среди них любимец бригады Павел Саранин — лихой, отчаянный кавалерист. Он творил дела, казалось бы, совсем невероятные.

Деревня занята белыми. Павел в одиночку пробирается к ней и потом вихрем пронесится по главной улице, мимо растерявшихся, остолбеневших колчаковцев. Пока белые успевают сообразить, в чем дело, и вскинуть винтовки и пистолеты, всадник уже скрывается из виду, успев, однако, заприметить на лету все, что интересовало командиров.

Когда красноармейцы хотели внезапным налетом ворваться в село, захваченное колчаковцами, они часто посылали вперед Саранина. Разведчик, переодевшись в крестьянское платье, медленно подъезжал к белой заставе. Солдаты останавливали его — кто да откуда?.. Вдруг «крестьянский парень» выхватывал оружие, и оторопевшие, ошеломленные солдаты поднимали руки кверху. А товарищи-красноармейцы тут уже, разумеется, не зевали!

Многие не дошли до Урала. Мученическую смерть принял под селом Архангельским в Коми-Пермяцком округе неизвестный красноармеец-связной Кизеловского полка (С. Н. Удников, рассказавший об этой трагедии, не установил, к сожалению, его фамилии). Колчаковцы долго пытали пленного, отрезали уши, выкололи глаза, вырезали звезды на спине и на груди. А потом сорвали последние одежды, привязали к дереву и обливали водой на трескучем морозе до тех пор, пока человек не превратился в ледяной столб, на который палачи повеси-





ли кусок фанеры: «Всех красноармейцев, взятых с оружием в руках, ждет то же самое. Красноармейцы, приходите к нам добровольно — и будете отпущены домой».

Но «добровольцев» они так и не дождались.

Уже на подступах к Уралу, в западном Прикамье, в селе Богородском Верхнекамский полк был врасплох застигнут на привале неожиданным кавалерийским налетом белых. Пулеметчик Эдуард Рик залег под обрывом у самой речки и срезал огнем наседавших казаков. Когда отстучала последняя лента, он поднял пулемет над головой и бросил его в речную глубину. И в это мгновение его грудь пронзило несколько казачьих пик...

В походных колоннах Особой бригады, которые в тот день, 19 июля 1919 года, двигались мимо скромных строений самой обычной российской железнодорожной станции с громким иноземным названием, мы увидели бы красноармейцев с черными лентами над щербатыми козырьками их выгоревших и пропыленных добела, потрепанных и обвислых армейских фуражек. Да, с черными лентами... Мимо нас шла 9-я рота 22-го Кизеловского полка во главе со своим неизменным командиром, уральским рабочим и балтийским моряком Афанасием Назукиным.

История этих необычных лент интересна и очень характерна для той эпохи.

В Перми я разыскал двух бойцов партизанского отряда «Черных орлов», из которого сформировалась впоследствии 9-я рота Кизеловского полка, — Григория Федоровича Давыдова и Ивана Петровича Беляева. Они-то и рассказали мне о «Черных орлах».

Еще на исходе восемнадцатого года два небольших чекистских отряда, созданных рабочими Усолья и Пожвы, слились в один крупный отряд. Командиром его стал большевик Афанасий Назукин. Здесь были и двенадцатилетние ребята, винтовки которых, лихо закинутые за плечо, бороздили снег прикладами, и шестидесятилетние старики. Одеты были кто во что мог, большинство ходило в лаптях. Ни военной формы, конечно, ни военного знамени...

Начали со знамени. В январе девятнадцатого года в селе Тилино Коми-Пермяцкого округа Назукин увидел у одной из крестьянок большой кусок черного сатина, который она, кажется, припасла себе на новую, праздничную юбку, и упросил ее продать материал. Без знамени воевать нельзя было, а в тех захолустных, таежных местах красной ткани партизаны так и не нашли.

Из сатина выкроили флаг размером два на полтора аршина, отгладили, нашили буквы из белого коленкора: «Смерть врагам Советов» и «Мы их победим». А из оставшейся ткани нарезали ленточки на шапки.

Вот так и появился в прикамских лесах красный партизанский отряд «Черных орлов».

«Черные орлы» почти поголовно были большевиками. Там, в отряде, вступил в Коммунистическую партию и Иван Петрович Беляев. В его личном архиве сохранился редкий документ той эпохи — временный, самодельный партбилет.

Небольшой листок бумаги. В левом верхнем углу — штамп:

«Пожевский Комитет Соц. Демок. Раб. Партии  
Большевиков  
15 июля 1918 года  
№ 184.

Пожва, Соликамск. у. Пермск».

В левом нижнем углу круглая печать, такая же вылинявшая, еле заметная, как и штамп: «Пожевский комитет большевиков» и «С-Д.Р.П.».

Вот и весь билет... Когда Ивана Беляева на общем собрании приняли в партию, между штампом и круглой печатью вписали его фамилию, имя, отчество и — «членский вступительный взнос 1 руб. внесен». А на обороте столбиком: «июнь», «июль», «август», «сентябрь»... Уплата взносов...

29 января 1919 года в бою под селом Архангельским в бумажник, где, сложенный вчетверо, лежал этот листок, ударила белая пуля. Билет был пробит. Счастливая случайность уберегла Ивана Петровича от тяжелого ранения, а то и —

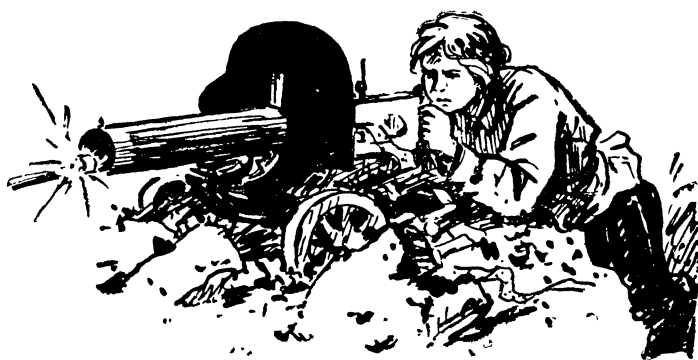


кто знает? — от гибели. В том же бумажнике лежал увесистый и широкий екатерининский пятак, которым из-за денежной неразберихи тех дней пользовались как разменной монетой.

...Недолг был отдых Особой бригады в Нижнем Тагиле и на станции Сан-Дonato. И снова в путь, по пятам отступающей «Колчаковии», в Зауралье, в Сибирь. Долгий путь, гордый путь... Вскоре после освобождения Урала Особая бригада послужила ядром для вновь сформированной 51-й стрелковой дивизии Василия Блюхера, той легендарной дивизии, которая в 3-ю годовщину Октябрьской революции штурмовала переколские укрепления Врангеля. Два «родных брата-близнеца» — Кизеловский и Верхнекамский полки, получившие при создании 51-й новые номера — 452-й и 453-й, — прорывали знаменитый Турецкий вал. Героизм кизеловцев был отмечен в рапорте В. К. Блюхера Реввоенсовету Южного фронта. «452-й стрелковый полк, — писал начдив, — лучший полк дивизии, за время своего существования не знал поражений...» А верхнекамцы были награждены Красным знаменем Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета.

Закончилась гражданская война, и бывшие уральские рабочие вернулись в родные края. Как новые и отныне вовек не сменяемые хозяева взяли они в свои руки бывшие владения российских заводчиков Демидовых — «князей Сан-Дonato». И своеобразным напоминанием обо всех этих событиях стоит и сейчас неподалеку от Нижнего Тагила небольшая железнодорожная станция со странным и непривычным названием — Сан-Дonato.





З. СМЕРНОВА-МЕДВЕДЕВА

# НЕОЖИДАННЫЙ РЕЙД

*Документальная повесть*

## ГЛАВА I.

*Об этом  
не забывают*

**П**оспитель жил размеренной и в то же время нервной, напряженной жизнью. В точно установленное время врачи совершали обход, санитарки раздавали завтраки, обеды и ужины, сестры разносили термометры, лекарства... И существовало наряду с этим особое время у каждого выздоравливающего — время воспоминаний, тяжелых раздумий, которое хотелось подхлестнуть будто ленивую лошадь, — скорее, скорее выздороветь и снова стать в строй.

Но об этом я мечтала тогда как о несбыточном.

Я была слепа. «Проникающее осколочное ранение в верхнюю долю правого глаза». Потом осложнение на левый и почти полная безнадежность увидеть свет.

Никогда прежде действительность не распадалась для меня на такое бессчетное количество звуков и запахов. Никогда раньше не были так обостренно чуткими обоняние и слух. Никогда до этого лишь по одной, выхваченной из сплошной черноты примете воображение не воссоздавало таких ярких, выпуклых, рельефных картин прошлого и происходящего.

И не то чтобы я была склонна к преувеличенному сочувствию самой себе, нет. С ранних лет не очень избалованная жизнью, я попала на фронт в девятнадцать и сразу полной мерой хлебнула солдатской судьбы. Не только сознание, все мое тело помнило и лихорадочную тряску рукояток брызжущего огнем «максима» и неподатливую жесткость земли, в которую так трудно вдавиться, когда визжат над тобой рваные клочья металла. В общем из полудетства мне пришлось шагнуть в такую зрелость, какой в другую пору хватило бы на десяток мужчин.

Но мысль о том, что, быть может, навсегда мир отделен от меня сплошной чернотой, была непереносима. Я жила воспоминаниями и надеждами, что кошмарная тьма разорвется и тогда я перестану жить прошлым, а опять буду солдатом. Наверное, неплохим. У меня был опыт. Я приняла боевое крещение под Одессой, дважды с моими товарищами отбрасывали штурмовые части фашистов под Севастополем. В общем я умела воевать. И могла упрекнуть себя только за тот, последний бой. Ведь для солдата важно не только отбросить, разбить противника, но и сберечь себя для других боев. Стоять насмерть — не значит искать гибели, а уничтожать врага, пока бьется сердце и глаза видят землю...

Командир нашего пулеметного взвода Морозов вскочил в дот, тяжело дыша, и, почесывая свой бритый затылок, сказал:

— Похоже, всерьез.

Артподготовка была очень жестокой. Отдельных взрывов не было слышно. Над передовой стоял сплошной оглушающий грохот. Дот покачивался из стороны в сторону. Дважды крупнокалиберные снаряды рвались так близко, что пулемет сбрасывало на пол. Казалось, сама земля билась в лихорадочном ознобе. В доте стало невыносимо душно — и от жары и от тошнотворного духа взрывчатки.

Оглушенная и безразличная к новым, еще более сильным разрывам, качавшим дот, как лодку, я стояла у амбразуры. Артналет мог закончиться каждую минуту, а фашисты уже научились заранее подходить поближе, прикрываясь своим огнем. Но ничего, кроме крошечного ада огня, черного дыма и вздыбленной земли, я не видела.

— Смотрите у меня! — услышала я над ухом голос Морозова. — Чтоб ни одна сволочь к доту не подошла! Я в другие расчеты наведуясь,

Мне захотелось остановить Морозова, но он быстро вышел.

«Действительно, — подумала я, — действительно, ведь есть, кроме нашего, еще дзоты. Дзоты, а не доты, где гораздо опаснее!»

Словно угадав мои мысли, Самарский крикнул:

— Не волнуйся, справимся!

Я кивнула. Мы с ним вместе воевали еще под Одессой и понимали друг друга с полуслова.

— Живы? — послышался от входа в дом странный в этом грохоте женский голос. Это была санинструктор Оля Ткаченко. Она вместе с мужем, политруком, служила в одной роте. — Раненых нет?

— Здесь нет, — ответил Самарский.

Не удержавшись, я спросила:

— А вообще много раненых?

Оля только рукой махнула. Она первый раз была под таким обстрелом, но держалась молодцом.

Тут в дот заглянул Ткаченко.

— Чего ходишь? Обещал же не рисковать! — сердито сказала Оля мужу.

— Ты тоже обещала, — добродушно отозвался политрук.

— Меня раненые ждут.

— А меня здоровые. Это поважнее.

Они улыбнулись друг другу. И ушли. Бой распадался на множество отдельных эпизодов.

Заканчивая перевязку двадцатого по счету раненого, Ткаченко попросила двух его соседей по окопу помочь ей отвести раненого в укрытие. Так тот ее и слушать не хотел.

— Не трепи свои и мои нервы. Стоять могу — значит, баста.

— Надо эвакуировать тебя.

Сверху сыпались комья каменной земли, и было очень душно.

— Покурить бы... — сказал вдруг раненый.

Оля достала из санитарной сумки папиросу.

— Настоящая! — воскликнул раненый, принимая подарок. — Эй, товарищи, кому дать затянуться, пока фрицев поблизости нет?

Никто из соседей по траншее не отказался.

Оля ушла. Но покурить в свое удовольствие никому не пришлось. Едва Ткаченко зашла за выступ, как позади прямо в траншею с воем врезалось шесть мин. Оля бросилась обратно и едва не наступила на валявшуюся отдельно руку с дымящейся еще папиросой. На этом участке траншеи в живых никого не осталось.

Час спустя артиллерийско-минометная подготовка стала заметно затихать. Сквозь разреженный грохот стали отчетливо слышаться разрывы тяжелых дальнобойных снарядов. Потом появились как бы «просветы» в общем гуле.

Наконец наступило затишье.

Но тишины не ощущалось. Голова гудела и трещала, в ушах стоял звон, и, когда я поднялась, шагнула, все вокруг плыло и раскачивалось. Тело казалось онемевшим.

В знойном воздухе, насыщенном пороховой гарью, медленно оседала густая пыль.

Стало хорошо видно солнце.

Потом голубое небо.

Осунувшийся и поэтому выглядевший еще старше, Морозов в который раз заглянул в дот и снова вышел, сжимая в руках автомат. Высунувшись на поверхность, он оглядел подступы к рубежам взвода. От деревьев остались расщепленные, обугленные пни. Трава выгорела дотла. Дымились неостывшие воронки. Никакой маскировки на позициях не осталось.

Но вражеской пехоты еще не было.

Тогда в жуткой тишине послышался далекий гул. Летели самолеты

— Только вас, проклятых, и не хватало, — пробурчал Морозов и стал свертывать самокрутку, немного торопливо, чтобы покурить до бомбежки. А увидев вышедшего из укрытия бойца Курбатова, хрипло крикнул: — Воздух!

— Воздух! Воздух! — подхватили наблюдатели.

Задрав голову с зажатой в зубах самокруткой, Морозов смотрел на стремительно приближающиеся черные точки, которые вскоре превратились в черточки. Потом стал вслух считать самолеты. Досчитав до шестидесяти, Морозов вынул изо рта погасшую папироску, сплюнул:

— Не все ли равно, сколько их? — Помолчал. — Мы же знали, что они прилетят. И что стрелять по ним будем и прятаться от осколков. А от прямого попадания бомбы укрытия на передовой нет. Это тоже все давно знают.

Открыли огонь чудом уцелевшие зенитки.

Но «юнкеры» пролетели высоко.

— Ну вот, пронесло... — облегченно вздохнул Курбатов, обернувшись к стоявшей рядом Ткаченко.

— И ты обрадовался? — посмотрела прямо в глаза Курбатову Оля и, кивнув в сторону города, спросила: — А что там будет?

Курбатов не ответил.

— Воздух! Воздух! — снова закричали наблюдатели.

Самолеты приближались к рубежу со стороны солнца, и их трудно было увидеть и сосчитать. Курбатов долго смотрел в белесое небо.

— Эти гады, пожалуй, нас не обойдут, — и поправил каску.

Около полусотни «юнкеров» закручивали в вышине свое «чертово колесо», карусель, чтобы не мешать друг другу при бомбометании.

И один за другим стали входить в пике.

От бомбовых ударов, казалось, взвыла в страхе сама земля.

А воющая, бьющая по земле, будто по наковальне, смерть продолжала падать с неба.

Но надо было найти в себе силы, выйти в открытый окоп и бороться: стрелять, стрелять в то и в тех, кто сеет этот ужас, и люди вышли.

— Два самолета! — закричал Курбатов и схватил за плечо Морозова. — Прямо на нас! Два самолета!

Младший лейтенант склонился над противотанковым ружьем, готовя его к стрельбе.

— Чего кричишь? — ответил он ровно. — Ты что, думаешь, не вижу? Лучше стань за пулемет — упреждение три — три с половиной корпуса. И не кричи.

Бомбы долбанули землю рядом с траншеей.

Сидя, прижавшись к стенке траншеи, Курбатов держал руками дрожащие колени.

— Что, трясется? — спросила его Ткаченко.

— Ох, трясусь! — слотнув, ответил Курбатов. — Сейчас справлюсь...

Отложив в сторону набитые патронами магазины трофейного пулемета, Курбатов все же заставил себя встать. Он подошел к нише, вытащил оттуда полузасыпанный пулемет, продул ствол, обер его маленьким женским платочком-подарком и изготовился к стрельбе, поставив «ручник» прямо на бруствер. Укрыться было негде, и, конечно, фашистские летчики отлично видели все боевое расположение нашего переднего края. Первая волна «юнкеров», отбомбившись, поливала траншею из пулеметов. Им отвечали с земли ружейно-пулеметным огнем.

Морозов уже давно изучил повадки воздушных стервятников. И когда один выходил из пике, всадил бронебойный патрон в брюхо бомбардировщику. «Юнкерс» закачался, как подстреленная птица, и, не набрав высоты, рухнул за вражескими траншеями.

Бойцы кричали и смеялись от радости. Но новый налет заставил их снова взяться за оружие. Второй самолет, уже в воздухе объятый пламенем, врезался в землю рядом с воронкой от бомбы, которую только что сбросил. Над воронкой еще не успела развеяться пыль.

И наконец, третий самолет, подбитый дружным огнем морозовцев, свалился, взорвавшись на собственных бомбах.

Как ни жесток и страшен был налет, но окончился и он. Мы, несмотря на потери, готовились встретить гитлеровскую пехоту.

— Идут!

— Пошли!

Я приникла к амбразуре.

Гитлеровцы пошли в атаку.

Сначала они двигались короткими перебежками.

Мы молчали.

Фашисты осмелели,



Я смотрела на изуродованный воронками клочок земли перед дотом. Смотрела и не узнавала его и не могла отыскать взглядом ни единого чуть приметного бугорка земли — ни одной мины, на которые мы тоже немного надеялись. Тогда я поняла, почему часто вместе с разрывом вражеского снаряда слышался как бы второй взрыв. Мины детонировали. Все пространство перед нашим рубежом оказалось разминированным.

Пулемет был готов встретить врага. Всматриваясь в прорезь прицела, я видела поспешно поднимающиеся по склону цепочки в серо-зеленых мундирах. И в каждом из них я видела убийцу своей подруги — Нины Ониловой.

Не слыша ни единого выстрела, не потеряв на половине пути ни одного убитым или раненым, гитлеровцы двинулись едва ли не как на параде.

Ладони у меня стали мокрыми от волнения.

— Ну... Чего не начинаешь? — зашептал мой второй номер — Самарский.

— Подождем... минутку...

— И полминутки хватит!

— Хватит...

— Забросают гранатами. Смотри, как бы поздно не было.

Тут на левом фланге ударил автоматнo-ружейный огонь. Гитлеровцы откатились вправо, поближе к доту, пошли кучнее. И тогда мой «максим» выпустил длинную очередь. Потом я стала стрелять короткими.

Я видела, что не мажу, что пули находят цель.

И поредевшая цепь отхлынула.

За ней пошла вторая. Однако опять была вынуждена отойти.

Вдруг совсем неподалеку, в «мертвом пространстве» для пулемета, я увидела двух фашистов. Они подползали с гранатами

— Толя! — успела я крикнуть Самарскому. Но он уже и сам заметил смертельную опасность, грозившую нам, кинулся к запасной амбразуре, успел метнуть гранату... Тут же около дота взорвались немецкие. Потом ударила брошенная Самарским.

Второй пулемет, установленный на левом фланге, молчал. Тогда я еще не знала и только могла догадываться, что случилось непоправимое: дзот уничтожен, а случайно оставшийся в живых Морозов, взяв автомат, залег в цепи. С левого фланга не было видно, что гитлеровцы поднимались по склону балки все ближе и ближе к нашему укрытию.

Но теперь, когда наше положение оказалось особенно трудным, Самарский перестал нервничать. Он спокойно, не спеша ладонью обтер пыль от взрыва фашистской гранаты, покрывшую крышку короба, поправил ленту, посмотрел на меня, будто спрашивая: «Снова ждешь?»

Я ждала еще с полминуты, а потом открыла огонь.

Цепь словно скосило. Вторая, двигавшаяся за ней, прижалась к земле, стала отстреливаться из автоматов. По колаку дота часто застучали пули.

Я перестала отвечать, буркнув Самарскому:

— Этак патронов не хватит.

За второй цепью гитлеровцев появилась третья, потом четвертая.

Высокий, широкоплечий фашистский офицер поднялся, обернулся к солдатам, прокричал слова команды, размахивая парабеллумом. Но тут меткая пуля, посланная кем-то из наших, свалила его. Пошатнувшись, офицер разрядил парабеллум по своим же солдатам, упал ничком и покатился по склону в балку.

Бой не продолжался и часа. Фашисты, рассчитывавшие, видимо, на силу артподготовки, так ничего и не добились. Усталость заставила меня сесть.

— Что ж на левом фланге случилось? — спросил Самарский.

— Ладно, пойду посмотрю. — Мне стоило огромных усилий подняться. Рассовав по карманам бинты, я вышла.

Дзот на левом фланге был разрушен. Но оттуда доносился чей-то тихий голос. Кто-то разговаривал сам с собой. Я с трудом разрыла проход и увидела неузнаваемо закопченное лицо бойца. Обе его ноги были перебинтованы. На повязках проступила кровь.

— А, Зоя... Жива? Мы отвоевались. Погиб мой Ваня. Патронов нет. «Максим» разбит.

— Рано отвоевался, — ответила я. — Еще вылетат.

— Вылетат... — согласился боец. Он потерял много крови и был апатичен, а потом совсем поник. Я подложила ему под голову плащ-палатку. Побежала к себе в дот: начался новый артналет, и необходимо было быть на месте, чтобы встретить врага. Он мог подойти под прикрытием своего огня совсем близко.

Заглянула в дот Ткаченко, пожаловалась, что нет воды для раненых. Мы с Самарским отдали ей свои полупустые фляжки. В это время вошел Морозов с перевязанной головой и строго взглянул на санинструктора.

— Не за водичкой ли пожаловала?

— За водичкой. Только норму «максима» я не ущемила. Пулеметчики свои фляги отдали, — и Ткаченко ушла.

— Ну, как вы тут, дети мои, живы? — спросил Морозов, подходя к пулемету, и быстро оглядел его, потом посмотрел на меня, на Самарского. — Ну и слава богу, что живы.

Младший лейтенант стал вытирать пот с лица. Очень душно было в доте.

— Во время боя никак не мог прийти, — продолжал Морозов. — У других совсем плохо было.

— Я знаю.

— Сбегала? Успела?

— Думала помочь...

— Ишь ты, страдалница, — улыбнулся Морозов. — Нелзя уже помочь. Левый фланг гол как сокол... А вас я все время слышал. Спокоен был. Много патронов истратила?

— Две ленты — пятьсот штук.

— С ума сошла! Ну-ка, ну-ка... — Морозов заглянул в амбразуру на склон, где валялись трупы фашистских захватчиков. — Ну ладно. В случае чего, я в расчете старшего сержанта Зайцева буду. Там пулеметчик тяжело ранен.

Началась новая атака гитлеровцев, которую мы отбили. Потом опять артналет, во время которого были убиты Оля Ткаченко и ее муж — политрук нашей роты.

После артналета на рубеж пошли вражеские танки. Перед ними выросла стена заградительного огня. Но машины упрямо двигались вперед, и многие миновали ее. За танками бежали пьяные пехотинцы. Время от времени фашисты возобновляли обстрел. Сильно контузило командира роты Самусева. Он передал командование Зайцеву.

Все ближе подходили танки, все отчетливее виднелись их башни, пулеметы, черные кресты с белой каемкой по краям.

Человек пятнадцать оставшихся в живых бойцов готовились встретить врага. Я понимала, как трудно нам придется. По лицу стекали ручейки липкого пота, учащенно стучало сердце. Я чувствовала, что боюсь, и знала, что этот страх не заставит меня отступить. Ведь на своих постах оставались даже те, кто едва стоял на ногах.

Если посмотреть вправо, то видно стоящего на своем посту бойца Усова. Правая рука у него была оторвана по локоть, плечо перетянута ремнем вместо жгута. Прямо посмотришь — фашистские танки. Влево — полуразваленный изгиб траншеи, а около — твои товарищи, раненные, истекающие кровью, но непоколебимые.

Танки стреляли на ходу и били из пулеметов. Снаряды рвались у траншей, присыпая мертвых и тех, в ком еще теплился огонек жизни.

И тут сзади нас послышался хлопок выстрела. Я обернулась. Маленькая противотанковая пушчонка вступила в поединок с десятью стальными чудовищами. Артиллеристы били прямой наводкой. Я узнала старшего лейтенанта Фокина, командира батареи.

Несколько минут длилась дуэль. Три танка запылали у самой траншеи, окутавшись чадным пламенем. Из-за этой «дымовой завесы» вывернулся четвертый, приостановился, ударил. Взрывом пушку отбросило в сторону. Артиллеристов не осталось в живых.

Зайцев выскочил на бруствер и метнул под днище танка гранату. Столб черно-красного пламени вырвался из сорванного люка. Старший сержант стоял и смотрел на танк, словно желая твердо убедиться в том, что тот никогда не двинется с места, устало вытер пот.

И снова из клубов дыма от горящей машины появился еще танк. Зайцев свалился.

Тогда на бруствер прямо против фашистского танка выполз Усов. Он держал связку гранат в левой руке, а обрубок правой помогал себе ползти. Наверное, у него не хватило сил подняться. Танк был метрах в пятнадцати от траншеи. Усов полз прямо под сверкающие траки гусеницы, рванулся и потонул во взрыве.

Остальные вражеские машины повернули обратно. Пехота, боясь быть раздавленной своими же танками, подалась вправо. И тут уж мы с Самарским отвели душу. Амбразура ограничивала сектор обстрела. Мы быстро вытащили пулемет из дота и успели как следует расплатиться с гадами за гибель своих товарищей.

Я не верю в предчувствия, но, когда в эту минутную передышку Самарский вдруг спросил, напишу ли я ему, коли что случится, я разозлилась на него всерьез.

Вот тогда-то и поднялся перед пулеметом желтый огненный столб.

Все для меня потонуло в странном звонком тумане...

Капитан-окулист знал, чем кончаются такие осложненные ранения. Правый глаз — 0, левый — 0,7—0,9 процента зрения. Это был самый оптимистичный прогноз, на который я могла рассчитывать. И медицина в данном случае не ошиблась. Неделя, вторая, третья, пятая, процедуры, уколы, перевязки, вливания, в полутемном кабинете снимается, наконец, повязка. На пять минут. На десять. На двадцать. И вот распахивается госпитальный подъезд. Первая самостоятельная прогулка.

Сочи, город, в котором я оказалась впервые, но о котором много слышала, город моря и пальм, дворцов, утопающих в зелени, каким ты окажешься на самом деле?

Море было. Откуда-то издалека доносилось его ровное, спокойное дыхание, степенно перекликались гудки портовых буксиров, бодрящий, простором пахнувший ветер приятно охлаждал разгоряченное лицо. Были и пальмы. Приземистые, с волосатыми, словно укутанными в медвежьи шубы стволами. Подошла к углу дома. Почему-то обязательно стало нужно узнать название улицы, на которой стоит госпиталь. Но ровная строчка белых букв на темно-синем фоне таблички расплывалась, дрожала, ускользала от взгляда.

Опустив голову, до крови прикусив губу, я повернула обратно. Нет, не надо таких прогулок, лучше...

Пустела палата, один за другим покидали госпиталь новые знакомые, и только Маша, самая близкая, самая дорогая, по-прежнему оставалась рядом. Ведь мы познакомились с ней еще под Одессой.

Тогда мы не догадывались о нарушении строгих инструкций по отчислению выздоравливающих, на которое из-за меня пошел персонал госпиталя. Начальник его по просьбе капитана-окулиста задержал выписку Ивановой, оставил ее

со мной. Опытный врач, знавший цену психотерапии, надеялся, что присутствие близкого человека поможет течению процесса.

И вот последний день, последний обед в госпитале. На семи столиках — особенно чистые, прямо из прачечной, скатерти, самые щедрые порции мясного борща. Самые пышные букеты осенних цветов. На семи. Двадцать восемь солдат покидают госпиталь.

Молча вышли из столовой во двор. Мужчины свернули самокрутки подлинней да потолще, чтоб продлить удовольствие. Откурились до последней, жгущей пальцы затяжки.

— Станови-и-ись!

Старший по команде, старший лейтенант Самусев, по списку проверил людей, осмотрел шеренгу придирчивым командирским взглядом, сделал замечание Ивановой, которая еще утром была для него просто Машенькой, щегольским жестом, подняв палец, проверил, точно ли над переносицей звездочка сдвинутой набекрень пилотки.

— Ша-агом ар-рш!

## ГЛАВА II.

### Формула

### лейтенанта

### Самусева

Сорок второй год, канун великой битвы на Волге, ставшей началом конца гитлеровского рейха. Уже разбита под Москвой группа армий «Центр», уже в Сибири и на Урале в невиданных масштабах куется оружие Победы, уже складывается новая стратегия разгрома фашизма.

Но враг еще силен и нахрапист, он еще не осознал приближающегося проигрыша, он рвется и рвется вперед, ошалело, как зарвавшийся игрок, и кое-где прорывается. И тогда порой происходит неожиданное.

Вместе с командой выписанных из госпиталя и направившихся на отдых бойцов я следовала по направлению к Бийску. И вдруг мы оказались в тылу фашистских частей.

Не во всем из того, о чем пойдет мой дальнейший рассказ, я сама лично принимала участие. Но несколько необычное положение полуслепого разведчика вдруг сложившейся рейдовой группы настолько усилило работу воображения, такими содержательными и красноречивыми сделало любые детали, что я как бы одновременно была в нескольких местах, воспринимала события глазами сразу нескольких людей.

...Они бежали к роще. Неровными, лихорадочными скачками, тяжело топоча сапогами, хрипло дыша: в госпитале отвыкли бегать. Позади отрывисто взвизгивали пули. Ложбина скрадывала расстояние, а гитлеровский пулеметчик-

танкист был, видно, не очень опытен — суматошные, длинные очереди шли в недолет.

Они уходили от врага. Уходили без единого выстрела. Но если б кто-нибудь в эти мгновения взгляделся в лицо старшего лейтенанта Самусева, длинными перебежками поднимавшегося вверх по склону, его бы поразило выражение дерзкого, лихого веселья, в общем-то мало уместного в подобной ситуации. Самусев заставлял себя держаться позади редкой цепи, хотя быстрые легкие фонтанчики пыли, вспыхивавшие среди пожелтевшей травы, подстегивали, заставляли бежать изо всех сил. Именно сейчас, в эти секунды бегства, бегства не панического, а заранее запланированного, Самусев до конца ощутил себя командиром. Командиром, чей план, расчет, боевая хитрость оказались более совершенными, чем у врага.

Госпитальная команда под его началом неожиданно оказалась в тылу вражеских войск, прорвавшихся к Кавказу. Наткнувшись на мотоколонну фашистов, безоружные солдаты разделились на две группы и ушли под прикрытие степных лесополос. Впрочем, безоружные — не совсем точно: у Самусева и Нечипоренко, командира второй группы, летчика, списанного в пехоту по ранению, было по нагану и по шесть-восемь патронов. Самусев и Нечипоренко и возглавили группы. Впрочем, о судьбе бойцов, ушедших с Нечипоренко, да и его самого я узнала несколько позже.

Часа через три, продвигаясь по полосе, группа Самусева вышла к глубокой и широкой балке. На противоположном ее склоне раскинулись сады, белые мазанки, длинные приземистые строения колхозной фермы. Залегли на опушке, ничем не выдавая своего присутствия. Володя Заря, известный севастопольский снайпер, вытащив из тощего «сидора» свою драгоценную оптику, стал планомерно, по квадратам изучать раскинувшийся перед ним буколический пейзаж.

Минут через пятнадцать сержант обнаружил у околицы темные громады двух танков. Они смутно просматривались сквозь ячею камуфляжной сети, небрежно закиданной серой соломой. Танки были замаскированы между двумя скирдами. В стороне, там, где плетень вплотную подступал к пыльному шляху, глаза снайпера углядели поднятые, будто оглобли двуколки, тоненькие стволы двух зениток.

Неширокая речушка, змеившаяся по дну заболоченной ложбины, густо поросла камышом.

Но кто в станице — наши или фашисты, — узнать не удалось.

— Так, понятно, очень даже ясно. Попробуем, обязательно попробуем, — негромко приговаривал Самусев, лежа рядом с сержантом и осматривая замеченные объекты через оптический прицел. — До ночи с разведкой ждать не будем. Риска здесь большого нет, — заключил он. — От полосы до фермы километра полтора, до речушки — метров пятьсот. Танки через болото не ползут. Половина останется в лесу; я с отделением пойду к болоту. Скрываться не

станем, наоборот, гимнастерки прикажу снять, рубахи скорее заметят. У воды остановимся, будто засомневались, и обратно к полосе. Если наши — себя окажут, а немцы увидят, что уходит добыча, не выдержат. Склон, правда, крутоват, зато сухой, преодолеем секунд за сорок-пятьдесят. Не успеют фашисты пристреляться. А преследовать они нас не скоро соберутся. Уйдем.

— Может, не стоит сейчас себя обнаруживать, товарищ старший лейтенант? Дотемна подождем, а там к первой хате и сориентируемся, — засомневался Заря.

— Время дорого. К ночи мы еще десяток километров пройдем. Лесополоса-то к самому горизонту уходит. Может, там уже точно свои.

Напарник сержанта Зари, кряжистый, крепко сбитый сибиряк со смешной и вкусной фамилией — Пельменных, дополнил план небольшой, но существенной деталью.

— Когда тронемся, махорочку-то порастрасти придется, потереть да потрясти. Насчет собачек-то — непонятно. Овчарку с лайкой, конечно, не сравнить, однако и они нюхом головасты...

Так и сделали. Разведка маневром удалась полностью. Потерь не было. Одного пуля царапнула по боку, другому осколок резанул мякоть руки. За точное выяснение обстановки это была не такая уж большая плата.

Трудно сказать, сколько группа прошла в тот день. Во всяком случае, много, так много, что к вечеру я совсем перестала видеть. Я брела, придерживаясь за брезентовый ремень Машиной санитарной сумки, ориентируясь на легкий звук ее шагов, и ощущала только одно — в тяжелой, будто дробью заполненной, голове колотят в виски острые молотки пульса.

Наконец двигавшийся впереди колонны Пельменных сообщил, что полоса обрывается у оврага. С той стороны доносится собачий брех и тянет дымком. Я бессильно опустилась на землю, не видя сумки, которую Маша пыталась подложить мне под голову. Услышав рядом голос Самусева, я поймала подругу за руку, зашептала горячо, как в лихорадке:

— Слышишь, молчи про мои глаза. — С трудом выпрямившись, села, поправила волосы, с деланным оживлением пригласила: — Присаживайтесь, товарищ старший лейтенант. И разрешите нам не приветствовать вас по уставу. Лучше расскажите, как наши дела.

Самусев присел. Пошуршав газетой, оторвал клочок, свернул самокрутку. Мягко шорохнуло по кремню колесико зажигалки, остро-щекочуще запахло листовым абхазским самосадам.

— А демаскировать нас не опасаетесь? — старалась направить беседу в «зрячее» русло. И наверняка бы выдала себя, не будь Самусев озабочен другим.

— Я под плащом, — машинально отозвался он. — А что

до планов... Они как у той одесской гадалки — она всех от казенного дома упреждала, а потом сама уселась за мошенничество. Послал разведку. Пельменных с ними ушел, дуваю, с охотником беды не случится. Придут, доложат, тогда и соображать будем. А вообще-то у меня на вас большие виды.

— И какие же? — настороженно спросила Иванова.

— Пока оружия не добудем, придется вам быть нашими поводырями. Платье гражданское где-нибудь прикупим, деньги у меня есть. Будете как подружки от околицы к околице ходить. Хлопцы наши все по-госпитальному, под нулевку острижены. Их любой патруль опознает. А вы под сочинским солнцем загорели, сойдете за казачек.

— Поводырями? И без оружия? Да знаете ли вы, дорогой товарищ старший лейтенант... — неожиданно грубым голосом начала Иванова и охнула от моего щипка.

— Помолчи, Машенька, помолчи, милая. Вы не удивляйтесь, товарищ старший лейтенант, что я ее прерываю. Мы с ней всегдашние спорщицы. А идея-то отличная. Я в самостоятельности неплоха, говорят, была. Денек потренируюсь, сумею слепую сыграть, а Маша мне поводырем будет. Ведь правда, Машенька?

— П-правда, — после недолгой паузы подтвердила Иванова и, не удержавшись, съязвила: — Лихой будет отряд! Разведка слепая, бойцы безоружные. Повоюем.

— Ну, вот что! — Самусев резко поднялся. — Разговор этих я не слышал. Не было их! Понятно?

— Ну конечно же, понятно, — ровно и спокойно подтвердила я. — К делу Машина шутка отношения не имеет. Она ведь такая — за словом в карман не полезет, но и под огнем не тушует.

— Мы еще поговорим об этом.

И ушел, чуть похрустывая сухими ветками.

Ночь прошла в общем спокойно.

Пельменных приволок полфляги молока, заботливо, чтоб не насветила часовому, обернув ее плащ-палаткой. Напарник его, веселый, разбитной парнишка, ремесленник из бывших беспризорных, умудрился стянуть с армейской фуры мешок с тремя буханками ослепительно белого и, как резина, безвкусного немецкого хлеба. А вот новости, которые они принесли, были невеселыми.

В окрестных станицах, да и на многих хуторах уже обосновались вражеские гарнизоны. Не крупные, но хорошо вооруженные — с пулеметами, минометами, кое-где и с броневиками.

В хуторе, около которого расположились бойцы Самусева, гарнизон был сильный. Здесь базировался какой-то тщательно охраняемый склад, а кроме того, в бригадной конюшне и на фермах фашисты с «черепами да дрючками на петличках» устроили нечто вроде тюрьмы. Сюда к вечеру пригоняли партии военнопленных, чтобы охранники имели возможность комфортабельно провести ночлег. В конвой



входило обычно пятнадцать-двадцать солдат, обязательно с ручными пулеметами. Танкисты на хуторе оказались случайно, что-то чинили, а вот теперь третьи уж сутки пьянствуют.

Военный совет старшего лейтенанта и двух сержантов длился недолго. Решено было уходить полосами, от леска к леску. Нам с Машей днем намечать рубежи, всем двигаться ночью. Но прежде всего следовало добыть оружие. Поразмыслив, решили — оседлать дорогу вдали от селений, захватить мотоциклиста или одинокую офицерскую машину. В руках Володи Зари наган был надежным оружием — еще в стрелковой школе снайпер на спор с десяти шагов перебивал пистолетной пулей «беломорину». А один уничтоженный мотопатруль — это худо-бедно два автомата, а то еще и «ручник».

Несколько часов спустя километрах в трех от хутора группа затаилась в засаде у дороги. Но события приняли неожиданный оборот. Сначала по тракту в сопровождении девяти мотоциклов пропылила тяжело груженная автоколонна. Потом пестро размазанный, длинномордый и угловатый броневик. А еще через полчаса запыхавшийся от быстрого бега связной бросился под куст, где расположил свой КП Самусев, и прерывающимся голосом доложил:

— Пленных ведут. С полсотни, наверное. Все в бинтах да кровище. Один — видно, немоготу стало — присел на обочину, так его сразу порешили.

— А фрицев сколько?

— Солдат с десятков, унтер да офицер верховой. И еще фура груженная, ездовой вроде бы без оружия.

— Ясно... — протянул Самусев. — Давай обратно и смотри в оба. Сигналы — как условились. Техника покажется — вороном, пехота — кукушкой.

— Слушаюсь.

— Ну, что будем делать, сержанты? — обратился Самусев к Володе Заре и Пельменных.

— Выручить бы надо, — степенно заметил Пельменных. — Ребят, видно, недаром не в тыл, а к фронту ведут. Гнусность какую-то фриц задумал. Помните, как на Мекензиевых, в Севастополе, эсэсовцы свои атаки пленными прикрывали?

— Как не помнить, — сквозь стиснутые зубы процедил Самусев. — Только учтите. Стрельба поднимется, шум — всем конец. Сюда от хутора танкам минут пятнадцать ходу. Действовать будем по формуле. Слышал от морячков-десантников такую. Песком в глаза, сапогом в живот, глотки рвать руками. Пленные помогут. В общем, если не дадим опомниться — сомнем. Бери, сержант, половину людей и быстро на ту сторону.

— Ну-ко... — сузив глаза, Пельменных проверил, легко ли выходит из чехла его старый охотничий нож с деревянной ручкой, и, пригнувшись, неслышной походкой таежника нырнул в кусты.

Колонна пленных приблизилась к полосе, наискось пересекавшей дорогу. Фельдфебель, начальник конвоя (офицер, как мы узнали позже по документам, к охране не имел отношения), видно, знал свое дело. У опушки он перестроил колонну, сбил ее в плотную, компактную массу. Автоматчики отошли к обочинам, держа пленных на прицеле. Фельдфебель поступал логично — в открытом поле беглец был бы немедленно расстрелян, а здесь к самой дороге подступали густые кусты. Но нам это было на руку.

Ехавший верхом обер-лейтенант расстегнул кобуру «вальтера», жестом поманил к себе шагавшего в центре колонны пленного в командирской гимнастерке, что-то спросил его по-немецки.

И тут из леса на дорогу вырвались два десятка безоружных, но страшных своей яростью бойцов.

Обрываемой струной взлетел над дорогой пронзительно-звонкий выкрик Самусева: «Батальо-он!» — но эта мальчишеская хитрость пропала зря. Встречная реакция пленных оказалась молниеносной. Они будто ждали освободителей. Четкий строй конвойных был смят. На каждого охранника набросилось по четыре, по шесть, по восемь бойцов. Они схватились насмерть.

Стремительно метнулся к обер-лейтенанту шедший рядом с ним пленный командир. Он вцепился обеими руками в лаковый поясной ремень, рванул. Заваливаясь на правое стремя, офицер вырвал из кобуры тяжелый «вальтер». Двойным ударом — локтем в лицо, рукояткой пистолета по голове наотмашь — ударил нападавшего, вздыбил кобылу, но было уже поздно.

Негромкий щелчок нагана Заря — и лошадь тяжело рухнула, но, падая, обер-лейтенант успел трижды нажать на спуск. Трое из навалившихся на офицера, и в их числе Пельхенных, легли под пулями.

Володя Заря, еще в Севастополе подружившийся с моряками-десантниками, старательно разучивал с ними приемы рукопашного боя. Он в два скачка настиг охранника, перехватил ствол «шмайссера», рванул на себя и в сторону, сильно и точно ударил коленом. Гитлеровец сложился, как перочинный нож.

Набегавшего второго конвоира Заря, не разворачивая выхваченного автомата, встретил резким тычком затыльника в переносицу. Разом ослепшего фашиста он отбросил в смертельные объятия пленных.

Не прошло и минуты, как на дороге не осталось ни одного живого фашиста. Короткая команда Самусева прервала объятия, бессвязные слова благодарности:

— Немедленно в лес! Очистить дорогу! Чтоб ни единого следочка не осталось!

Собрались в глубине лесополосы, шагах в ста от тракта. Подсчет трофеев занял немало времени. Помимо оружия, снятого с перебитых охранников, в бричке оказалось несколько коробок с автоматными обоймами, ракетница с па-



тронами к ней, десятка три гранат, сухой паек конвоиров, две канистры отличной питьевой воды.

Мы с Машей хлопотали около раненых, обмывая, накладывая и меняя повязки. Пленный командир оказался комиссаром батальона. Приложив к разбитой макушке мокрый платок, он присел с Самусевым под раскидистой алычой.

Коротко обрисовав положение на этом участке фронта, познаколив с историей группы пленных, батальонный поднял глаза на Самусева.

— Вопросы есть?

— Вместе будем прорываться, товарищ комиссар?

— Оно хорошо бы, — комиссар отмахнулся от овода, норовившего уместиться на рассеченную бровь. — Да только раненых у нас много. Быстрого темпа не выдержим. Думаю иначе. Отберем сейчас из наших кто покрепче, нарядим во фрицевское. Дисциплина у них слава богу, службу знают. При офицере, если кто и обратится, так только к старшему. А я у «заклятых друзей» два года в торгпредстве проработал. Любопытного отбрею, как ганноверский унтер. Два десятка автоматов, конечно, не один. Только пока мы друг другу не в помощь. Вы, кстати, тоже немецкую форму захватите. Сгодится. — И, тяжело поднявшись, комиссар начал стягивать гимнастерку.

Час спустя на дороге, где осевшая пыль уже прикрыла красно-бурые потеки, вновь выстраивались «пленные». У троих — в центре, в хвосте и в голове колонны — под шинелями и драными плащ-палатками были спрятаны автоматы. На повозке рядом с комиссаром, надевшим форму обер-лейтенанта, сидели два ездовых — лучшие гранатометчики. Восемь тщательно выбритых, отмывшихся «конвойных» окружали с виду по-прежнему жалкий, но теперь уже не беспомощный строй «военнопленных».

На прощанье комиссар крепко обнял Самусева, сунул ему в карман впопыхах написанную записку.

— У вас шансов больше, дойдешь — передашь по начальству. Ну, будь! Не рискуй безоглядно, а вот так. По-умному. Чтобы мы их, а не они нас. И еще — сумку обер-лейтенанта, этого, что меня допрашивал, тебе оставляю. Крепко береги. Я полистал — бумажки там стоящие. Покойник из абвера был. Давай. — И, круто развернув Самусева, дружески подтолкнул его.

Колонна тронулась.

Через полчаса и мы покинули место недолгого привала. Первая после госпиталя победа была одержана.

Спустя три часа остановились на отдых. Продвигаться стало опасно — лесополоса разреживалась около небольшого хутора. Поразмыслив, Самусев отвел группу обратно в глубь леса, а сам с Зарей и Машей ползком выбрался на опушку. Отдаленный, ленивый перебрех хуторских псов успокаивал. В занятых оккупантами селениях Шарики и Бобики быстро усваивали необходимые нормы поведения,

втихую прятались по задворкам. И все же Самусев решил не рисковать.

— Вот что, Маша. Пойди возьми пару нижних рубаш, рукава обрежь, сметай хоть наспех какую-то юбчонку. Платок, майку вместо гимнастерки, охапку хвороста. Мы пока за хатами понаблюдаем.

Маша уползла. Заря и Самусев затаились под кустами. Низкое басовитое гудение заставило вздрогнуть обоих. Вскинув голову, Самусев чертыхнулся. Тяжелый мохнатый шмель с золотистыми комочками обножек на задних лапках с ходу залетел в паучью сеть, заворочался в липких нитях, с усилием выпутался, устремился дальше.

— Лихой, бродяга, — с завистью вздохнул Заря. — Вот бы нам так же, по-шмелиному!

— Так и будет, — уверенно ответил Самусев. — Сейчас гансам не до тыла. Рвутся очертя голову. Линии фронта нет, есть соединения на марше. А мы — где мимо, а где и через... Думаю, пройдем.

— Ну-ну, — Володя сорвал шершавый листок щавеля, вкусно причмокивая, стал жевать. — А хорошо ли девчонку посылать, может, я лучше?

— Косы, — недовольно буркнул Самусев. И, видя, что Заря не понял, пояснил: — Косы у нее не стрижены. Зоя — та под мальчика, ее могут опознать. А Иванова сойдет за местную. Сапоги, правда, но на Кубани и женщины в сапогах ходят. Ты из «шмайссера» метров на сто не промахнешься?

— И за двести поручусь.

— Видишь стожок? Перед тем как Маше идти, займешь там позицию. На случай чего. А мы вас отсюда подстрахуем. Эшелонированная, значит, будет оборона. Все по тактике.

Почти двухчасовое наблюдение окончательно успокоило обоих. За все это время из крайней саманной хатенки вышла только одна женщина, видно, немолодая, с палочкой и коромыслом. А когда Маша в своем кустарном туалете, похожая не то на нищенку, не то на ряженую, готова была отправиться в путь, со двора выехала телега, запряженная красно-бурой коровой. Она двинулась прямо к полосе.

— Отставить разведку, — довольным голосом произнес Самусев. — Будем вести гражданскую дипломатию.

Женщина, погонявшая корову длинной хворостиной, время от времени нагибалась, сгребала в охапку кое-где золотившуюся на стерне солому, бросала ее в телегу. Видно, хутор отапливался, а может, и кормился остатками не очень тщательно убранного хлеба. Вблизи хутора стерня была чистой, прибранной. Здесь, ближе к полосе, еще лежали сухие валки необмолоченной пшеницы.

Женщина постепенно приближалась к опушке. Когда до нее оставалось не больше полусотни шагов, Самусев легонько тронул Машу за локоть:

— Давай!

Завидев поднявшуюся из-за кустов Иванову, казачка настороженно остановилась. Негромкий разговор, и Самусев с облегчением вздохнул — обе направлялись к опушке.

Как оказалось, немцев на хуторе не было. Заезжали, видно, разведчики, на мотоциклах и бронетранспортерах, однажды побывали и танкисты, но подолгу не задерживались.

— «Матка, яйки», «Матка, млеко». Нажрут, наплетутся у криницы, вроде вутки, тай укатывают, слава тебе господи, — рассказывала Варя — так звали новую знакомую. — На окрестных хуторах, мабуть, много их, а мы сбих шляха. Курей-утей пострелялы. Да то перебудется. Бабы наши як кошки хитрущие, в клунях теперь пусто, все, шо есть, позакопували. А уж для вас найдем и салця и винця

— Винца-то ладно. Водички бы. За весь день по кружке на брата только и пришлось.

— Так я разом, разом, — всполошилась Варя. — Тики худобу свою заворочу та сусидок покличу. Пидеешь со мной? — обратилась она к Маше.

Та вопросительно глянула на Самусева. Он кивнул:

— Будешь в хуторе, попроси из одежды чего-нибудь. Себе и Зое. Костюмеры из нас липовые.

На маленьком хуторе едва ли не каждый приходился друг другу кто кумом, кто сватом. Но, наверное, дело было не в родстве. Лично мне за все те годы ни разу не довелось столкнуться с равнодушием, с безразличием, душевным нейтралитетом. Не было фронта и тыла — был сражавшийся народ, люди, отмобилизованные велением собственных сердец.

Вскоре у опушки остановилась телега, нагруженная сверх всякой меры.

Сзади возвышалась кадушка с водой, бережно обвязанная поверху чистой мешковиной. На дне телеги уложены две громадные парусиновые торбы со свежим, выпеченным на капустном листе домашним хлебом, кусками чуть присоленного в три-четыре пальца толщиной сала. Сливочное масло в здоровенной кастрюле, глиняные горшки с варениками, залитыми сметаной, пироги, яйца.

И в иные времена этот груз не мог бы не вызвать зависти у любителя вкусно покушать. Тогда же он был сокровищем. Бойцы не могли прийти в себя от удивления. Будь Маша постарше и поопытнее, то, наверно, заметила бы, с каким усилием отводят глаза от снеди трое Вариных казачат. Ей и в голову не пришла простая мысль — когда в хатах всего вдоволь, хозяева не собирают в поле колоски.

Самой желанной была вода. Пили вдоволь, взахлеб. Выпили бы, наверно, всю кадушку, если бы Самусев не опомнился, не прикрикнул, чтобы оставили на дорогу.

Потом сидели, разбившись на группы, с жадностью уничтожая домашнюю снесь, наедались впрок перед дальней дорогой. В НЗ были отложены хлеб и сало. Самусев, глянув

на часы — время приближалось к одиннадцати, отозвал Зарю, велел ему повнимательнее наблюдать за юго-восточным сектором и пошел проводить Варю до опушки. Ему хотелось поподробней расспросить о дороге.

Когда Самусев вернулся, Заря четким шепотом отработал:

— В двадцать три тридцать в секторе замечены две ракеты. Зеленая и красная. Интервал — секунд десять.

— Именно так, сначала зеленая?

— Так точно.

— Дистанция?

— Затрудняюсь сказать, товарищ старший лейтенант, но большая. На пределе видимости. Первую чуть не просмотрел.

— Молодец комиссар! Далеко ушел. — Самусев на мгновение запнулся. — Ну ладно. Поднимай людей.

Ракеты, выпущенные группой комиссара, означали, что основной поток вражеских колонн держится параллельно дороге, и если отклоняется, то больше к югу. Потому Самусев повел своих людей севернее, по-флотски — на ост-норд-ост, наперерез наступавшим. Перейти линию фронта на фланге совершающих бросок гитлеровских частей было, наверное, проще.

## ГЛАВА III.

### Счастливая

### ошибка

На дневку расположились прямо в степи — от одной лесополосы изрядно оторвались, до следующей же оставалось километров десять. Отдаленный гул моторов со стороны дороги извещал о приближении очередной мотоколонны. Собственно говоря, движение на дороге не прекращалось и ночью. Время от времени какой-нибудь лихач-водитель вспарывал темноту белыми мечами света резервных, не «подсиненных» фар. Однако это не мешало нам. Гитлеровцы не отклонялись от основного маршрута.

Другое дело — день. С высоты кузовов громоздких трехосных машин открывался, наверное, отличный обзор, а рисковать понапрасну Самусев не хотел. В неглубокой, полого уходящей на север ложбинке дозорные обнаружили ветхий, полуразвалившийся сарай. Родничок струил понизу ледяную, чистую, как роса, воду. Даже сейчас, осенью, поднималась вокруг сочная трава. В тени развесистых ив сохранились крепко вбитые колья не то от скамей, не то от общего бригадного стола. В прежние времена тут располагался, наверное, полевой стан.

Здесь-то и разместились на дневку наша команда, которую со вчерашнего утра мы именовали не иначе, как «Севастопольский батальон». Четверо с автоматами ушли в дозор. Остальные, истосковавшиеся по живой, немеряной воде, едва не осушили ручей, впервые за двое суток по-настоящему умылись. Потом блаженно развалились на ворохах соломы, на старой ветоши, захрапели на разные голоса.

Единственные, кому долгожданный привал не обещал необходимого отдыха, были Маша и я. Нам предстояло идти в разведку, выяснить, что ожидает группу по ту сторону полосы, темной бахромой оторочившей по горизонту сияюще-синий купол неба.

Самусев понимал, что после двухсуточного марша еще один почти тридцатикилометровый переход будет для нас мучительно трудным. Нам предстояло днем обернуться в оба конца, а ночью вести за собой группу до следующего подходящего укрытия. Но все определял наряд, добытый на «Варином хуторе» и совершенно преобразивший Иванову и меня.

Инструкция, которой Самусев напутствовал нас, была предельно проста.

— Далеко за полосу не уходите, километров на пять-семь, не больше. Оружия не берите, не в нем ваша сила. Хорошо бы ориентиры наметить, чтобы ночью с дороги не сбиться. Встретите немцев — держитесь спокойно, а в случае чего — идете с хутора Криничного. Слышали, что на выселках близ Верховской совхоз большой разогнали, хотите там овец прикупить. Деньги — вот.

Мы двигались рубежами — от крутобокого валуна к восторпщенным кустам орешника, от брошенной, видно, еще прошлой осенью, развалившейся телеги к копешке полуспнившего сена.

Маша намечала маршрут. Я — за «слепые» месяцы в госпитале моя память необычайно обострилась, — как школьница, шевеля губами, заучивала ориентиры и дистанции. Хотя карандаш и пачка папиросной бумаги были готовы, делать заметок не решались. В случае обыска они выдали бы нас с головой.

Около полосы увидели следы недавней схватки. Черные проплешины минных разрывов, наспех, видно, под огнем отрытые окопчики, россыпи стреляных гильз. Вдоль опушки чернозем был взрыт танковыми гусеницами, деревья иссечены очередями. В воздухе стоял едкий запах гари. Бой, видно, шел совсем недавно — день, может быть, два назад. Поколебавшись, мы вошли в полосу, раздвигая руками влажные от росы ветви.

В косых лучах солнца, пробившегося сквозь плотные кроны, плыли зыбкие волны испарений, толстый ковер опавшей листвы, мягко пружиня, гасил звуки шагов. По-рассветному дружно, наперебой заливались птицы. Я прислушивалась — в птичьем хоре не слышалось тревожного сорочьего стрекота, полоса была безлюдна.



Шагов через тридцать, за густым и низким, словно приплюснутым, бордюром опушки перед нами опять открылась степь. Стерня от самого горизонта бугрилась небурными копейками. Мы огляделись.

Слева, километрах в трех, полоса круто, почти под прямым углом уходила к северу. Справа, тоже не близко, неподалеку от основной дороги, у самой кромки леса что-то темнело. Впереди прямо по маршруту, примерно на такой же дистанции, круглилась небольшая рощица.

Посоветовавшись, мы решили дойти до нее и потом возвращаться. Но когда прошли с полдороги, стало ясно, что мы ошиблись. Не рощица — одно-единственное дерево — высоченная, кряжистая верба-великанша раскинула над полем могучие ветви, раскинула так широко, что издали казалась группой деревьев. Не воспользоваться такой идеальной наблюдательной вышкой было попросту глупо.

Однако задача оказалась не так проста. Маша с разбегу пыталась допрыгнуть хотя бы до первого из нижних сучков — ничего не получалось. Собрали и подтащили все камешки, которые отыскивали по соседству, и этого трамплина не хватило. Тогда я, взобравшись на шаткую пирамиду, опустилась на колени, лицом к бурой, щелястой коре.

— Лезь! Лезь, становись на плечи.

Маша повиновалась. Цепляясь пальцами за ствол вербы, я выпрямилась. Сразу резко застучало в висках, глаза застали скачущие радужные кольца.

— Достаеть?

— Нет, Зоя, чуточку не хватает... — виновато отозвалась Маша.

— Становись на голову.

— Ой, что ты? Ведь рана...

— Да быстрее, черт... Упаду ведь... Ну!

Резко оттолкнувшись от живой опоры, Маша схватилась за толстенную бугристую ветвь, зацарапала, заскребла бо-сыми ногами по стволу, подтянулась и белкой исчезла среди листьев.

Я отошла от вербы шатаясь, легла ничком, спрятав лицо в ладони, стараясь дышать ровнее и глубже. Медленно уплывала боль, обручем стиснувшая голову. Серая пелена перед глазами светлела, начала таять.

Прошло, наверное, с полчаса, но Иванова все еще не спускалась. Присев, я внимательно просмотрела крону, но нигде не было видно серого лоскута Машиной юбки.

— Маша, ты что там? Заблудилась?

— Им бы заблудиться, фашистюгам... Прут и прут по дороге машины, восемьдесят семь штук насчитала. И все на юг. А вон и танки... Десяток... Еще десяток... Еще... Слушай. Там, у полосы, тоже ведь танк стоит. И дымок вроде от костра поднимается. Нет, здесь напрямую идти не стоит. Правей, на угол полосы держать нужно. Ну, я спускаюсь, посмотрелась.

Несколько минут спустя, когда, забирая круто на север, мы зашагали по полю, из-за здоровенной прошлогодней скирды нам навстречу, выступил невысокий человек в накиннутой на одно плечо лягушачьей, с разводами немецкой плащ-палатке. Из кармана грязных синих бриджей выглядывала рубчатая рукоять пистолета.

— А ну! Девчата, подождите, не спешите. Ходите сюда, будем знакомиться.

Убегать было бесполезно. На таком расстоянии и пацаненок не промахнулся бы из рогатки. Белобрысый, обросший щетиной незнакомец держался спокойно и уверенно.

— В вороньих гнездах яйца искали? Так осень, пустых скорлупок и тех не найдешь.

— Ни, дяденька, — мгновенно перейдя на местный русско-украинский диалект, ответила я. — Телка мы шукаем, рыжий и такась во лбу беленька ласочна. Третий день не ворочается, проклятуший, боюсь, не солдатики ль его в котел...

— Постой-постой... — перебил белобрысый и весь подался вперед, пристально всматриваясь мне в лицо. — Вот оно что... Быстро ты приспособилась... Петлицы твои где, сержант?

— Якись петлицы? — Я, похолодев, пыталась не сбиться с взятого тона.

— Ну, хватит дурочку валять. При каком





хуторе пригrelись, защитнички?

— Та не с хутора мы, со станицы Верховской. Телок вот...

— Из госпитальной вы команды, сочинской. Обе. Тебя не помню, — грязным пальцем он ткнул в сторону Ивановой, — а эту видал. Два дня назад вас под Ейском десант разогнал пулеметами. А теперь вы вон где. Может, с частью? Тогда ведите к своим.

Мысли лихорадочно метались, обгоняли одна другую, путались. «Тоже из команды? Не было такого. Сослепу не разглядела? Но ведь и Маша его не знает. Оpozнал меня сразу, может, и в заправду шел с нами? Но на нем же немецкая форма! Перекинулся, пошел в полицаи? Тогда должен сразу гнать нас на пост. Хочет проследить, добраться до наших? Что делать?»

Белобрысому, видно, надоело затянувшееся молчание.

— Не хотите отвечать? И не надо. — Он вынул из-под плаща левую руку с зажатой в пальцах толстой куцей сигарой, щелкнул зажигалкой. — Гуляйте себе. — И, демонстративно отвернувшись, засвистал: «На закате ходит парень...»

Медленно, словно обреченные, поминутно оглядываясь, мы пошли. Куда — обе не знали. Идти к месту дневки — значит выдать своих. На хуторок, который остался по ту сторону полосы? Там уже могли быть немцы, да и этот белобрысый не оттуда ли появился? Стоять, пережидая? Тоже бессмысленно.

Единственное что подсказывал не разум — инстинкт, — продолжать двигаться в прежнем направлении. Не показывать, что неожиданная встреча нарушила наши планы. Кстати, двигаясь к стыку лесополос, мы вроде бы держали курс на хутор.

— Ты хоть следи за ним, Машенька. Не упускай из виду, — прошептала я, когда мы прошли шагов пятьдесят.

— Сидит, покуривает, вроде бы и дела ему нет до нас, скотине.

— Ну, пошли, пошли. Что-нибудь да придумаем.

Трудно, ох, как трудно идти под палящим солнцем, по жесткой, колючей стерне, понимая, что любой твой шаг может оказаться последним. Шагнешь — и вдруг щелкнет за спиной пистолетный выстрел. Шагнешь — и в этот самый миг белобрысый решит, что не след ему далеко отпускать добычу, кликнет своих, схватят, поволокут...

И все-таки мы шли. Молча, прямо, одеревеневшими спинами ощущая черный зрачок пистолетного дула.

Как во сне, добрались мы до полосы, притаились в кустах. Иванова осторожно выглянула из-за ветвей.

— Вон он идет. Видишь — вот он! — Маша крепко стиснула мою руку. Но я не могла разглядеть завернутую в камуфляжный брезент фигуру.

— Куда?

— Назад. К вербе.

«Может, и вправду наш, из команды? За те несколько часов марша, после того как мы вышли из автобуса, Маша могла и не запомнить каждого. Но, с другой стороны, у него пистолет, а личное оружие могло остаться только у командира. Разве Самусев не жаловался тогда, в разговоре с начальником пересыльного пункта, что на семь десятков бойцов надо бы еще хоть одного взводного? Если это враг, то почему он нас не преследует? Если свой — как мог так спокойно, почти равнодушно примириться с тем, что мы отказываемся его признавать? Почему не требовал, не настаивал?»

Мы еще некоторое время выжидали, наблюдая за одиноким путником, пока тот не скрылся из глаз. А потом, пробравшись сквозь кустарник, выбрались в степь и что есть духу кинулись к своим. Ни я, ни Маша не подозревали, что в накинутой камуфляжной палатке к старой вербе уходил не белобрысый незнакомец, а совсем другой человек.

Когда, удостоверившись, что тот, в плащ-палатке, и не думает следить за нами, мы перебежали полосу, на опушке нас уже поджидал отлично замаскировавшийся наблюдатель.

Солнце катилось к закату, когда запыхавшиеся, измученные мы добрались, наконец, до своих. По нашему

взволнованному, встревоженному виду Самусев сразу понял, что произошло что-то неожиданное.

— Подъем! В ружье! Пять минут на сборы! — скомандовал он.

Потом, отведя нас в сторону, спросил:

— В чем дело? Быстро!

Однако докладывать не пришлось. В распахнутую дверь донеслись громкие голоса, появился дозорный, без особой деликатности подгоняя дулом автомата давешнего белобрысого незнакомца. Его втолкнули в сарай. И мгновенно наступившую тишину нарушил возглас Самусева:

— Нечипор! Чертушка аэродромный!..

В следующий миг, по-медвежьи стиснув друг друга, они затоптались на месте. Радостно зашумевшие бойцы окружили их тесным кольцом, и только мы, сгоравшие от стыда за двойной провал, — не опознали своего, проморгали «хвост», — забились в угол. Смотреть в глаза друг другу не хотелось.

Обросший белобрысы незнакомец оказался тем самым Георгием Нечипоренко, командиром, которого Самусев все-таки выговорил себе у начальника пересыльного пункта. Нечипоренко лежал в каком-то другом госпитале, был нам совсем не знаком. И все же мы не могли простить себе этой ошибки.

Оставшись с группой безоружных бойцов, Нечипоренко тоже не растерялся. Сориентировавшись по сохранившейся в полевой сумке десятикилометровке Северного Кавказа, бывший летчик повел группу напрямик. Двигаясь несколько под углом к нашему маршруту, бойцы Нечипоренко тоже вышли к тому участку лесополосы, где несколько дней назад головная часть немецкого десанта столкнулась с нашей маршевой ротой.

Бой был, видно, и долгим и жестоким. Маршевики, занявшие оборону на опушке полосы, имели несколько пулеметов, ПТР. Отбивались отчаянно. Они сумели сжечь один броневик, подбили и танк, обошедший их с тыла, положили немало десантников, но и сами погибли.

Прочесав полосу, бойцы Нечипоренко подобрали кое-какое оружие, не замеченное трофейной командой гитлеровцев, — пяток трехлинеек, один симоновский полуавтомат с кинжальным штыком, немецкий карабин. Магазины найденных винтовок были пусты, лишь в коробе искалеченного «максима» застрял обрывок снаряженной ленты. Двенадцать патронов — по два на ствол.

А вот о захвате подбитого танка, у которого, наверное, для ремонта остался и экипаж и несколько пехотинцев, стоило, пожалуй, задуматься.

Еще до встречи с нами Нечипоренко, замаскировав наблюдателей в копешках, подумал о нападении на одиночную машину. Теперь же, соединившись с силами «Севастопольского батальона», он предложил старшему лейтенанту смелый и остроумный план.

## ГЛАВА IV.

### На „живца“

Сколько времени устраняется незначительное повреждение в моторе или ходовой части танка? День. Не больше. Подбитая же машина не могла тронуться с места уже третьи сутки. Танкисты и солдаты охраны жгли костер, что-то готовили. Значит, они ожидали помощи. Какой? Если машину должны зацепить тягачом и тащить на рембазу — незачем здесь бездельничать всему экипажу.

Видимо, танкисты поджидали доставки какой-то важной детали, установив которую можно было сразу ввести в строй подбитую машину. А коли так, то не сегодня-завтра к полосе должна подойти ремонтная летучка. Крытый грузовик. Это сулило нам очень многое. Кое-какое оружие у нас было. Мы могли рискнуть — захватить крытую машину и сделать рывок, в несколько часов преодолеть десятки километров, на что понадобились бы дни пеших переходов.

Самусев до войны занимался в осоавиахимовском автокружке. Нечипоренко — летчик. Оба могли вести машину. Правда, за один рейс перебросить команду почти в шестьдесят человек нельзя даже в самом вместительном автофургоне. Но за два? Чем больше мы множили километры на часы, а часы снова на километры, тем заманчивей становилась идея. Один из бойцов, с моих слов выучивший назубок ориентиры маршрута, был отправлен к группе Нечипоренко. А сам лейтенант, набросив пряжку ремня на торчавший в стене ржавый гвоздь, стал тщательно направлять бритву.

— Ты что это, Жора? Другого времени не нашел? — с некоторым неудовольствием спросил Самусев.

— Был у нас в эскадрилье один летчик. Пожилой уже, в Испании побывал, на Халхин-Голе. Так вот, он чем труднее день ожидался, тем старательней красоту наводил. Говорил, что помогает собраться. А мне сегодня обязательно надо быть «в форме».

— Что уж так-то?

— Не понимаешь? Эти два дня я, как заяц травленный, от каждого шороха в кусты кидался. Сегодня сам шебаршить начну.

Он брился долго, тщательно, окуная лезвие в котелок с ледяной родниковой водой, потом умылся. И мы с Машей не узнали своего белобрысого «полицая».

Широкоплечий, крепко сбитый, с розово-лоснящимися крутыми скулами и вольным разлетом темных бровей, он стоял посреди сарая, медленно закатывая рукава гимнастерки. Бережно обтерев, повесил на грудь протянутый Самусевым автомат, сунул за голенища по две запасные обоймы,

разгладил ладонями, натянул пилотку. Вытянулся перед Самусевым.

— Товарищ старший лейтенант, разрешите выполнять?

— Разрешаю. — Самусев приложил руку к козырьку своей шляпой фуражки. — Счастливого пути!

Нечипоренко, Заря, Вася — молоденький боец, ходивший в разведку с покойным Пельменных, и жилистый, толстый Сережа Иванов молча вышли из сарая. Им предстояло подобраться к вражескому танку, разведать подступы, установить наблюдение. Брать машину решили под утро — раньше мы едва ли успели бы объединиться с группой Нечипоренко.

Остаток дня прошел в сборах. По возможности приводили в порядок одежду, изрядно пострадавшую в бесперывных проходах по кустарнику. На куске ноздреватого песчаника точили ножи, брились, перестирывали в ручье портянки. Я и Маша, накрывшись шинелями, тихонько посапывали в углу.

Чем ниже катилось багрово-красное солнце, тем чаще поглядывал на часы Самусев. В записке, переданной со связным бойцам Нечипоренко, встреча была назначена на лесополосе на двадцать три тридцать. Тут же, в углу, образованном двумя полосами, должен был подойти и связной разведчиков. Оттуда до танка оставалось километра четыре.

Сарай покинули с первыми звездами. Когда прошли примерно половину пути, от дороги вдруг послышалась стрельба, взлетели осветительные ракеты. Группа залегла, выдвинула охранение. Автоматы вперехлест с пулеметом трещали, наверное, минут десять, ракеты взлетали одна за другой. Потом так же неожиданно стрельба стихла, но ракеты с нерегулярными интервалами продолжали чертить ночное небо.

Осторожно, по одному, вышли в предварительно проверенную дозором полосу. Поджидавший нас Володя Заря доложил обстановку. Подбитый танк охраняют пятеро. Танкисты машину покидают только по одному, выходят оправиться и сразу назад, башня развернута в сторону леса. Часовые ходят по кругу, не удаляясь от машины, сменяются каждые два часа. Один из танкистов, видно командир, с автоматом и при парабеллуме, несколько раз ходил к дороге, подолгу стоял там, что-то высматривая. До дороги метров сто двадцать — сто пятьдесят.

— А что за стрельба? — с тревогой спросил Самусев.

— Началось по-глупому, а кончилось скверно, — со вздохом отвечал Заря. — До темноты все спокойно было. Мы уже уходить собрались, Серега и встань во весь рост. А тут ракета. Они их, видать, со страху не жалеют. Ему бы стоять, дурному, в кустах, не заметили бы. Только он, видать, растерялся, плюх наземь! Треск пошел, они и всполошились. Из танка — пулемет. Сначала правее нас бил, потом стал башню разворачивать ближе, ближе. Хорошо, лей-

тенант не растерялся. А то бы всем конец, над самой землей стриг кусты, гад.

— Ну?

— Когда уж совсем рядом стали очереди ложиться, Нечипоренко сук здоровенный схватил и в сторону — швырк! Туда, к дороге. И так же подгадал — перед концом очереди. Те смолкли, а сук вот он, по кустам. Часовой услышал, туда трассой полил, мы и уползли трое.

— Трое?

— До Сереги, до Иванова-то, они башню довернули. Две пули в голову, наповал.

— Лейтенант где?

— Метрах в трехстах от танка они расположились. Записку вам прислал.

Накрывшись с головой плащ-палаткой, Самусев чиркнул зажигалкой. Торопливо пробежал корявые, в темноте нацарапанные строки:

«Фрицы встревожены. Часового в танк запускают по паролу. В лоб брать нельзя. До рассвета надо что-то придумать. Продолжаю наблюдение. Решение сообщу».

С рассветом внимание часовых обычно притупляется. Нервное напряжение тревожной ночи, когда каждый шорох, каждая тень обретали грозный, пугающий смысл, требует разрядки. Наступает реакция. Утренняя прохлада заставляет ежиться, вызывает желание поглубже спрятать голову в поднятый воротник, согреться, вздремнуть. А если еще перед этим тебя ругательски изругали за напрасно поднятую тревогу, проявлять повышенную бдительность становится как-то совсем неохота.

На заре по дороге пропылила первая машина, притормозила на крутом повороте, остановилась. Опять завыл мотор. И тут же на опушке появились двое — высокий солдат и обер-лейтенант в зеленоватой форме абвера. Часовой у танка насторожился. Но пьяным не до него. Они уселись на траву, достали фляжки, хлеб, сало и принялись пить и закусывать. То один, то другой прикладывается к фляжке и сосет подолгу, со вкусом. Наконец отрывается, ошалело крутит головой, торопливо закусывает.

Часовой жадно сглатывает слюну. Свой запас рома они с напарником прикончили в первый же день, а танкисты, проклятые свиньи, даже и не подумали поделиться с пехотой. Обер-лейтенант замечает-таки часового, манит пальцем. Пожалуй, надо поспешить, пока этот долговязый не опустошил еще всю флягу, да и начальство не передумало. Тот, кто манит пальцем, чином старше всех здешних. Но часовый есть часовый. Длинный обер-лейтенант, очевидно, понимает это.

Он с трудом поднимается, широким жестом загулявшего бурша швыряет часовому свою фляжку. Однако он спьяну не завернул пробку. Видно, как из фляжки в траву выплескивается драгоценная влага. Да и что за бросок у обер-лейтенанта: фляжка отлетела шагов на двадцать.



Часовой не выдерживает, бросается к фляжке — ведь задаром пропадает добро! Нагибается к фляжке, что валяется около куста, — и исчезает.

Кругом тишина. Пьяные не мешают больше. Да и мычали они не так уж громко: в танке их вряд ли слышали.

Через минуту тело часового оттащили в кусты. Володя Заря быстро натянул трофейную форму. Маскарад еще далеко не закончен.

К танку пошли вдвоем, Заря и Алексей Плотников, давнишний, еще с Одессы, корешок погибшего ночью Иванова. Оба босиком. У Зари — «шмайссер», за поясом у Алеши — две гранаты. В руках немецкая каска, полная воды. Неловко ступая по мягкой, росистой траве, они приблизились к танку, прислушались — тихо.

Плотников, зажав зубами кольцо гранаты, влез на танк, принял из рук Зари свой необычный «инструмент». Следом поднялся Володя, взял автомат наизготовку.

Медленно, осторожно, стараясь попасть точно в паз закрытого люка, Алексей начал цедить воду, принесенную в каске. Зажурчала просочившаяся струйка, в башне зашевелились, что-то спросили по-немецки. Рука Плотникова задрожала, вода пролилась мимо, но это уже не имело значения.

Звонко щелкнула задвижка, крышка шевельнулась, поднялась. Алексей, отшвырнув каску, обеими руками вцепился в бортик, с бешеной силой рванул, откинул крышку. В руках Зари, как живой, заходил автомат. Сунув ствол в черный зев люка, Володя не снимал палец со спускового крючка, пока не опустела обойма.

И снова тишина. Снова пылят по дороге теперь уже более частые машины, снова вокруг танка прохаживается часовой, в тяжелом шлеме, с автоматом на груди. Он, видимо, ранен — белое кольцо бинтов перехватывает подбородок, уходит за уши. Но ранение пустяковое, постуль тверда, руки крепко охватили рукоять и ствол автомата. Второй солдат сидит чуть поодаль, кашеварит, подбрасывает сучья в костер, помешивает в котелке.

Изменилось только одно. Ручной пулемет, вытасченный из танка, установлен в кустах, поближе к дороге. У пулемета — Самусев, еще в Севастополе прекрасно изучивший большинство видов вражеского оружия. А Нечипоренко с шестью автоматчиками расположился у дороги — это группа прикрытия.

Одна за другой проходят по дороге машины, мотоциклы, санитарные автобусы. Никому нет дела ни до танка, как и положено, охраняемого часовым, ни до часового. Проходит час, другой. Но вот наблюдатели у дороги заметили одинокий, медленно идущий автофургон. Не доезжая до полосы, машина остановилась. Сидевший в кабине офицер вылезает на подножку, оглядывается вокруг, достает карту, сверяется с местностью.

Один из наблюдателей чуть поднимает над кустами ру-

ку. В то же мгновение другой метрах в трехстах от дороги замечает короткий всплеск солнечного зайчика. Негромкий свист доносится до Самусева, и, полураздвинув кусты, он окликает прохаживающегося вокруг танка Зарю.

— Кажется, они. Приготовились!

Проехав полосу, машина свернула с дороги и направилась к танку.

Равнодушный часовой с перехваченным бинтами подбородком, заведя подъезжающий грузовик, стучит камнем по броне, отходит в сторону. А когда машина приближается вплотную, он вдруг заинтересовывается чем-то у задних колес. Удивленный шофер высовывается из кабины—часовой сидит на корточках и старательно выковыривает застрявший меж скатами здоровенный кусок бутылочного стекла.

Водитель выскочил, пошел к часовому, наклонился, чтобы помочь,— жесткая грязная ладонь перехватывает ему рот, точным ударом плоского штыва Заря без звука сваливает шофера. Подтянувшись, заглядывает в кузов — никого.

И тогда, испытывая чувство мгновенного облегчения, поняв, что операция уже завершена — танком овладели без взрывов, не повредив ручного оружия экипажа; летучку и комплект офицерской формы тоже, пожалуй, получают в целости и сохранности,— Заря спокойно обошел грузовик с другой стороны. Предупредительным жестом левой руки распахнул дверцу кабины и вогнал пулю из нагана между вскинувшимися в изумлении бровями офицера.

Все дальнейшее происходит с калейдоскопической быстротой.

Пока Самусев, кряхтя, натягивал на ноги узкие в голенищах офицерские сапоги, из кузова мгновенно вышвырнули ящики с инструментами, запасными частями, баллоны газосварки.

Одну гранату Плотников примостил на боеукладке со снарядами. Проволока соединяла ее кольцо с крышкой верхнего прикрытого люка. Выбирается Алексей через люк механика-водителя, отпускает стопор задвижки и наглухо захлопывает броневой щиток. Пусть теперь кто-нибудь из фашистов попытается открыть люк! Стоит поднять крышку, как потянется проволока, выдернется кольцо из гранаты и весь боезапас танка разнесет его похлестче десятка тяжелых мин! Сюрприз.

Быстро, очень быстро, вставая плечом к плечу, бойцы заполнили кузов, вот уже задернут брезент. Угловато-незнакомый в чужой форме Самусев обошел машину со всех сторон, осмотрел ее придирчивым взглядом. Все в порядке.

За баранку. Рядом сел Плотников — «автоматчик». Заря с трехлинейкой, на которую он установил свой снайперский прицел, забрался в кузов. Правда, у него только две полные обоймы, но, чтоб остановить любую машину, ему достаточно пробить скат или убить шофера. Погоня, коли начнется, будет непростой.

— Аккуратисты фрицы,— пробормотал Самусев, распо-

лагаясь в кабине. Действительно, фирма, выпускавшая грузовик, позаботилась о водителях, не знакомых с машиной: на пластмассовой головке рычага передачи скорости схема переключения скоростей, фигурка с заводной ручкой изображена у кнопки стартера.

С добродушным урчанием тяжелый трехосный «даймлер» попятился, развернулся, двинулся к дороге. Подошедший Нечипоренко вскочил на подножку, крепко пожал руку Самусева, испытующе глянул в его серые, с ястребиным разрезом глаза. Самусев понял:

— Не беспокойся, Жора. Как договорились, трехчасовой перегон, не больше. И с ходу — обратно. Девушек с тобой оставляю, меньше риска, думаю, будет. Часов через пять высылай к дороге маяков.

— Сделаем, — с некоторым усилием отводя в сторону взгляд и принимая равнодушный вид, произнес Нечипоренко. И видно, обозлился на себя за это проявление слабости.

— Да ты не тяни душу, трогай. Мы теперь не с кулаками да дрекольем — семь автоматов, пулемет, на каждого по гранате.

— Ладно, Жора, — не совсем впадая закончил Самусев. — Буду живой — вернусь, ну, а ежели... В общем сам, думаю, все понимаешь.

Нечипоренко крепко, до боли стиснул широкую ладонь Самусева, соскочил с подножки. Громоздкий автофургон рывком принял с места и, быстро набирая скорость, запылил по дороге.

Станные, ни на что не похожие чувства овладели Самусевым. Это был какой-то удивительный сплав тревоги и лихости, настороженности и гордости, горечи и уверенности в том, что все, даже самое неправдоподобно-рискованное, с этой минуты будет ему обязательно удаваться. Он знал, что даже при беззаветном героизме каждого из бойцов его маленькой группы только неправдоподобная удача, редчайшее стечение счастливых обстоятельств могут провести их отряд сквозь густейший частокол неблагоприятных случайностей.

И все же сознание того, что он, старший лейтенант Самусев, вопреки всему катит сейчас на мощной и послушной машине, не беспомощный, не одинокий, не безоружный, катит по этой врагом уже вписанной в победные сводки земле, катит как хозяин, наполняло его дерзкой мальчишеской радостью.

«Да мы и есть хозяева! Поэтому нам все и удается!» — подумал Самусев.

На повороте, когда точным движением руля он «вписал» в скоростной, на полном газу, вираж многотонный грузовик, эта радость стала острой, жгучей, рвущейся наружу. И он зашел: «Осоа... Осоа... Осоавиахим...»

Сидевший рядом Плотников за гулом мотора не расслышал и придвинулся:

— Это вы мне, товарищ старший лейтенант?

Самусев опомнился, смутился.

— Осоавиахим, говорю, полезное общество. Осоавиахим — это хорошо.

В кузове, вцепившись руками в железные дуги опор, стояли, прижавшись друг к другу, бойцы. Двое, проткнув ножами резинотканый навес, просматривали тракт впереди, по ходу, задние так же внимательно следили за убегающей дорогой. Оружие было наготове, в любой, даже самой неожиданной, ситуации они бы не растерялись.

За два часа покрыли пятьдесят шесть километров. У мостика, переброшенного через глубокий овраг, сориентировались. Судя по карте, взятой у убитого офицера, до ближайшей станицы оставалось километров восемь. Самусев свернул налево, ходко повел «даймлер» по ровному лугу в сторону от дороги. Километра через четыре добрались до густого кустарника, росшего по краю раздавшегося в этом месте оврага.

Отлогие склоны позволяли загнать машину вниз, замаскировать на славу. Самусев окончательно уверовал в свою командирскую удачу. Оставив старшим Зарю, он тут же пустился в обратный путь и даже позволил себе завернуть на подвернувшуюся бахчу, набросать в кузов десятка три отличных арбузов.

Правда, старик, стороживший баштан и не разделявший самусевского настроения, сыграл несколько не по роли. Он, насупившись, сосал люльку, дипломатично не обращая внимания на то, как немецкие офицеры и солдат выбирают себе арбузы покрупней и позвончей. Но проявил редкую прыть и красноречие, когда они, забывшись, решили его поблагодарить.

В ответ на русское обращение «дедушка» сторож обложил их такой замысловатой, яростной, староказачьей руганью, пожелал им, их родителям, детям и внукам столько всякого, что, растерявшись, они ретировались, даже не объяснив трубокуру, кто такие, а его заставив недоумевать, как сошла ему такая дерзкая выходка.

На обратном пути им дважды попадались встречные колонны. Но никто не обратил внимания на ремонтную летучку, идущую со стороны фронта. Самусев только прижимал свой фургон к обочине да, непрерывно сигналив, по сильнее давил на акселератор. Добротная кубанская пылюка отлично завершила маскировку.

Встреча с Нечипоренко и его отрядом состоялась в намеченном месте, в условленный час, за неширокой прогалиной, через которую с основного тракта съезжали на полевую дорогу. Густая стена зелени позволяла здесь притаиться, ну, словно бы человек за углом, всего в нескольких десятках метров от трассы.

Из железной бочки, предусмотрительно оставленной в кузове, до пробки наполнили бак горючим, осмотрели скаты, проверили уровень масла в моторе. Бойцы разместились в кузове, набросав перед задним бортом вал снопов, а на

них — отборные арбузы. Как ни голодны были люди, но здесь, на трассе, пренебрегать маскировкой не приходилось. Можно было трогаться, но Самусев почему-то медлил. Нечипоренко, сидевший в кузове, откинул навес, перегнулся к водителю.

— Слушай, ты не немцев, случаем, дожидаясь?

— Угадал, — Самусев скосил в его сторону сиявшие озорным весельем глаза.

— Сдурел?

— Ни капелюшечки.

— С огнем поиграть охота?

— С дымом, — Самусев коротко хохотнул. — Понимаешь, — понизив голос, продолжал он, — что сюда мы втихую добрались — понятно. На разъезде мелькнул, и рассмотреть-то им толком было некогда. А обратно? Нас ли кто догонит, впереди ли будет стоять, один любопытный подвернись — все. Стрельба, шум.

— И что ты надумал?

— К колонне нам надо пристроиться. Пропустим и сядем на хвост. За этой пылью, как в дымовой завесе, ни один черт нас не углядит. Опять же, если КПП на дороге появились, тоже у головной машины будут документы смотреть. Подлинней бы только колонну.

— Ну, брат, такого я и в авиации не слыхал, — с сомнением покрутил головой Нечипоренко. — Своей охотой к ним в строй залезть.

— Вот-вот. Тебе задумка психованной кажется, а они и вовсе до этого не додумают. Не риск, а расчет. Психология.

— А охранение ежели? — Нечипоренко с украинской осмотрительностью желал обязательно взвесить все «за» и «против».

— Места открытые, не партизанские. А потом, дозорные-то на мотоциклах, услышит Плотников. Он специально сидит в кустах со стороны дороги. Все получится, Жорик, не сомневайся. Мы на этом слоне еще до наших доскачем.

Самый рискованный план не всегда бывает и самым труднореализуемым. Расчет Самусева полностью оправдался. Правда, бойцам, укрывшимся в кузове, эта поездка стоила немалых нервов. Трудно сохранить спокойствие, сидя под темным пологом брезента в сотне шагов от врага. Но зато через три с половиной часа автолетучка благополучно добралась до знакомого деревянного мостика.

Машина остановилась. Плотников, сидевший рядом с водителем, выскочил с ведром, полез в овраг, к ручейку. И если кто из немцев, ехавших в конце колонны, в этот момент обернулся, он увидел бы обычную дорожную картину — грузовик с задранной капотом, солдата, доливавшего закипавший радиатор. Правда, чтобы оторваться от колонны подальше, Плотникову пришлось не раз слазить в глубокий овраг.

Потом они свернули в сторону, и вскоре «даймлер» на малом газу съезжал в ложбину. Группы соединились.

## ГЛАВА V.

### Решительный бросок

Выбирая для очередного привала это укрытие, Самусев руководствовался двумя соображениями. Прежде всего надо было вновь сориентироваться в обстановке — группа приблизилась к густонаселенным местам. Кроме того, следовало дать людям хоть короткую передышку. Измотанные многокилометровыми ночными переходами, недоеданием, непрерывным нервным напряжением, бойцы буквально валились с ног.

Отдых не сулил быть особенно сытным: арбузы, варенная на жарком пламени сухого бурьяна кукуруза, по паре ломтей хлеба на брата да по кусочку сала размером в спичечный коробок — вот и весь дневной рацион. Но был у старшего лейтенанта один план, осуществление которого позволяло отдохнуть по-настоящему и точно сориентироваться.

Володя Заря, уроженец Ставрополя, бывал здесь у родственников. Правда, достаточно давно. Однако связь со станичниками во многом могла бы упростить и обезопасить фуражировку. Когда Заря в первый раз увидел переброшенный через овраг мостик, он как будто признал эти места. И утверждал, что совсем неподалеку находится хутор, где жила его бабка.

— Что ж, — сказал Самусев, — тебе и карты в руки. Возьми Зою да еще человека три и отправляйся.

Ближе к вечеру нанесло тучи, стал накрапывать дождь. Поначалу редкий, словно нерешительный, он постепенно набирал силу. К тому времени, когда Володя, я и трое бойцов прибрели к хуторскому лугу, дождь сыпал безостановочно.

Резкие порывы ветра размывали капли в водяную пыль. За такой завесой уже в трех шагах ничего не было видно. Во всяком случае, мальчишка-пастушок, прикрывший голову и плечи вдвое сложенным кулем, не замечал меня, пока я не подошла почти вплотную.

Поговорили. Выяснилось, что с утра фашистов на хуторе не было, да и вообще они здесь не задерживаются — «бои тут были даже сильные, уси хаты скрозь покорябаны, та йисты нема чего».

А потом произошло неожиданное.

Заря, сначала издали наблюдавший за встречей, подошел ближе. Он узнал в пастушке Петьку Шкодоря, жившего через три хаты от дома его бабки. Мальчонка тоже вспомнил парня, фотографию которого в парадной форме, с орденом Красной Звезды и теперь часто показывала сосе-

дям бабка Уля. Но теперь этот человек был в немецком мундире!

Стиснув зубы так, что на посиневших от холода скулах явственно проступила россыпь веснушек, Петька подхватил кнут и, несколько раз изо всех сил перетянув ближайшую корову, не отвечая на оклики, кинулся бежать на хутор.

Всерьез расстроенный Заря только руками развел:

— Тыфу ты, напасть! Пропала разведка. С утра многое могло измениться, а придется вслепую на хутор топать.

— А стоит ли, Володя?

— Конечно, не стоит. Только как быть? Обстановку не разведали. Насчет харча тоже непонятно. А потом, скажу я тебе, за бабку боязно. Этот Шкодари на весь хутор меня ославит, ежели не расшифруюсь теперь — житья старухе не видать. В общем пошли, деваться некуда.

Прогноз, сделанный старшим сержантом, был достаточно точным. Когда мы подошли к калитке, подвешенной на самодельных, вырезанных из сыромятного ремня петлях, у тына уже толпилась кучка оживленно «балакающих» соседей. Ни дождь, ни холодный ветер не помешали им терпеливо дожидаться на перекрестке внука всем известной кумы, а взгляды их были настолько красноречивы, что, проходя сквозь их строй, Володя непроизвольно поежился.

Ульяна Андреевна встретила нас на пороге. В руках у сухонькой, маленькой старушки была большая, тяжелая кочерга, взятая как ружье, наизготовку.

— А ну, геть витися! Ишь, паскудник! Явился, тай шалашовку с собой волоче. Гоните его, люди добрые! — И Ульяна Андреевна, вскинув кочережку, пошла врукопашную.

При всей комичности ситуации мне с Зарей было в ту минуту не до смеха. Как унять разбушевавшуюся бабку? А тут еще соседи, собравшиеся за плетнем, вот-вот кинутся ей на подмогу.

Нет, я не думаю, чтобы все женское население хутора отличалось такой уж безудержной храбростью и было готово встретить с оружием, пусть даже «печным», любого представителя оккупантов. Будь на месте Зари другой «гитлеровский» солдат или, допустим, русский, но незнакомый полицей, реакция, наверное, была бы куда менее воинственной.

Но если любой другой человек в чужой форме был бы для улицы таинственным, непонятным и поэтому по-настоящему опасным, то в «Вовке Зареньше», которого большинство женщин знало еще в детстве, никто не мог признать «полноценного» фашиста. Это был хоть и вызывавший общее возмущение предатель, но в то же время в какой-то степени свой и оттого не такой уж страшный.

Трудно сказать, чем бы кончилась вся эта глупая неразбериха, если бы мне не пришла в голову простая мысль. Выхватив из-за пазухи свою смятую, с алой звездой пилот-

ку, я кинулась к Ульяне Андреевне, протягивая эту пилотку как документ, как секретный мандат советского разведчика.

— Вот! Смотрите!

Хотя в ту пору каждый вышедший за околицу мог без труда обзавестись какой угодно формой, а зачастую и оружием обеих армий, это действовало. То ли мои уверенность и искренность сыграли решающую роль, то ли просто в любой ситуации большинству людей свойственно охотнее верить в хорошее, чем в плохое, но пилотка-удостоверение как-то сразу погасила разбушевавшиеся страсти.

Ульяна Андреевна выронила кочергу и, опустившись на ступеньки, зашлась в тихом старушечьем плаче. Соседки, еще не очень уяснившие ситуацию, но в немалой мере умиротворенные, отошли от плетня, о чем-то переговариваясь.

Вошли в хату. Володя, уже несколько пришедший в себя, — к чему, к чему, а к такому он не был подготовлен, — снял немецкий мундир, остался в одной рубашке. Я, наспех накинув сухое платье хозяйки, пристроилась у печи, выгоняя из настывшего тела озноб.

В этот момент за дверью раздалось хриловатое, громкое:

— Чи можно к вам, Ульяна Андреевна?

— Входи, входи, Мефодьич, — откликнулась бабка и, успокаивая, повернулась к Заре: — Це Трофим Мефодьич, наш бригадир.

В хату, отряхивая с пышной раздвоенной бороды капли дождя, вошел пожилой, но крепкий, как колода, казачина.

Если бы не пустой рукав старенького чекменя, булавкой подколотый к правому плечу, его, наверное, и сейчас признала бы годным к строевой самая придирчивая медкомиссия. В бороде, в брюнетистой шевелюре ни одного седого волоса, зубы ровные, белы как рафинад, под уверенной поступью поскрипывают, гнутся половицы. Только густая сеть морщин, избороздивших кирпичное от степного загара лицо, да голос выдавали немало прожившего человека.

Степенно поздоровавшись, он прошел к столу, опустился на лавку.

— С гостями вас, Ульяна Андреевна. Чи сдалека будут?

— Да так, по соседству наведались... — не очень любезно ответил Заря, настороженно поглядывая на пришельца.

— А куда збираетесь?

— Про кудыкину гору не слыхивал, батя? — с язвинкой в голосе полубопытствовал Заря.

Трофим Мефодьевич, видимо, рассердился, резко поднялся. Добродушно-хитроватое его лицо отяжелело, речь потеряла украинскую певучесть, стала рубленой.

— Дурак ты, парень. Перед кем юлишь? Мне седьмой



десяток идет. Три войны прошел. Кавалер и «георгия» и Красного Знамени. Понял? Такого, как ты, хитреца, насквозь вижу. Насчет дороги разведать пришел, так время не переводит, говори прямо. А то не ровен час... Лучше меня никто тебе дислокацию не нарисует. — И снова сел, левой рукой вытягивая из кармана шаровар длиннейший кисет.

Трофим Мефодьевич действительно оказался для нас сущим кладом. Единственный в хуторе владелец радиоприемника, детекторного, не нуждавшегося ни в электросети, ни в батареях, он регулярно слушал сводки Совинформбюро, прекрасно представлял себе положение на этом до последнего хуторка известном ему районе Северного Кавказа.

— Двигаться надо на Кизляр, через песчаные степи. Много вас? — твердо сказал Трофим Мефодьевич.

— Да так, поменьше роты, побольше взвода, — ответила я, не обращая внимания на укоризненный взгляд Заря. Я окончательно прониклась доверием к Трофиму Мефодьевичу и не считала нужным скрываться.

— Вон оно что... — Старик на мгновение задумался. — Тогда так. — Сдвинув в сторону миски и стаканы, уже приготовленные Ульяной Андреевной, он острым концом кресала прочертил на столе извилистую линию. — Смотри. Вот хутор. Здесь река. Не знаю, как по карте, а казаки ее Солоницей зовут. Мелкая, к осени ее вброд перейти можно. Водой здесь запасетесь. От Солоницы прямо на восток держать надо. Переход тяжелый, ни колодцев, ни озер, но и немцев там не должно быть. Суток за четверо пеши до калмыцкой степи доберетесь. Запомнил?

— Так точно, — как старшему по званию, ответил Заря.

— Це дило, — враз надевая личину степенного хуторянина, закончил деловой разговор бригадир. И по-хозяйски обратился к Ульяне Андреевне, хлопотавшей у потрескивающей кизяками печи: — Мы вже побалакали, а шось «дымки» не видать. Тай на яешню я б тоже остався.

Впрочем, «погостевать» как положено ни нам, ни Трофиму Мефодьевичу не пришлось. Стрелки часов, за которыми я следила, напоминали и о неблизкой дороге, и о мокнущих под дождем трех бойцах охранения, и об отряде, где с нетерпением ожидали вестей.

Мужчины опрокинули по стаканчику самогона, закусили яичницей с салом, картошкой, кислым молоком. Трофим Мефодьевич не прочь был и продолжить, но Заря, почувствовав, как разом ударил в голову хмель — сказывалась трехдневная голодовка, — решительно поднялся.

Ульяна Андреевна рассердилась:

— А я як же?

— Баба Уля, — укоризненно начал Заря. — Я ж солдат, мое место...

— Де тобі место, я й сама знаю. Тики как мени людям в очи глядеть? Мени от тебя одно треба, щоб знали су-

сиды, що не який тб не германець. По хатам ходит та кажному доказувать я не можу.

— Ладно, баба Уля, что-нибудь мы придумаем, — поспешил утешить старушку Заря, не очень, разумеется, веря в то, что говорит всерьез. Однако судьбе вольно было распорядиться иначе.

Трофим Мефодьевич, опрокинувший перед уходом еще одну чарку, пошел нас проводить. Видимо, «дымка» все же подействовала, потому что старый казак по дороге очень уж разговорился. Он рассказал о том, что в бригаде успели припрятать и посевное зерно, и горючее для сева яровых, и даже трактор, оставшийся на стане, «бабий батальон МТС» успел загнать на старый ток и тщательно укрыть соломой.

Потом попрощались. И, расставаясь, совсем не думали, что новая встреча состоится через несколько часов.

В отряд вернулись перед рассветом — в темноте сбились с пути и изрядно проплутали по степи. Дождь перестал. Хлюпая сапогами по раскисшей земле, поминутно оскальзываясь, подходили мы к месту стоянки. Еще издали, за несколько сот метров, услышали натужное, захлебывающееся гудение автомобильного мотора. Стало ясно, что произошло нечто непредвиденное.

Маскируя место стоянки, Самусев завел тяжелый «даймлер» на дно ложбины. Но усилившийся дождь погнал по склонам тысячи мелких ручейков. Машина оказалась в ловушке. Спихнулись поздно. Задний мост почти по диффер влип в размягшую почву.

Полночи под проливным дождем боролись за машину. В иную погоду или будь у нас трос, пятьдесят человек без особых усилий вызволили бы застрявший грузовик. Но сейчас сапоги скользили по грязи, и «даймлер» никак не желал поддаваться. Только побросав под колеса вороха ореховых прутьев, шинели, плащи, машину все же вытащили из глиняной западни. Но подняться по склону она не могла, юзила, буксуя, скатывалась назад, поминутно угрожая покалечить подталкивающих.

А самое скверное было то, что на первой скорости выжгли почти все горючее — оставалось не больше четверти бака. Бочка же была пуста еще со вчерашнего дня.

Выслушав доклад Зари, Самусев немного успокоился. Обстановка благоприятствовала, можно было не спешить. «Чумазаа команда», раздевшись, выкручивала обмундирование, прыгала, стараясь согреться. Нечипоренко и Самусев, не так продрогшие, поочередно сменялись у руля, каждый надеялся, что именно ему повезет. Заря примостился на подножке.

— Ну, и как думаешь быть, лейтенант? — задумчиво спросил Самусев, разминая пальцами затекшие от напряжения плечи. — Бросать грузовик, идти пешком? Далековато.

— Н-да, сотни две верст... Без машины плохо. Вообще-то часа через три подсохнуть должно. На небе, видишь, ни облачка. Только на оставшемся бензине мы далеко не уедем. А что у нас есть? Полфляги спирта.

— Товарищ старший лейтенант, — востроенулся Заря, — так горючего я вам хоть бочку доставлю!

— Родишь? — неприветливо отозвался Нечипоренко. — Шутник ты, старший сержант, а нам сейчас не до трепа.

Но обрадованный неожиданной идеей Володя даже не обиделся за несправедливый упрек.

— Да нет же, я на полном серьезе. У нас на хуторе припрятали запас колхозники, поделятся. Вот только...



— Что только? — нетерпеливо перебил Самусев, еще не веря в подобную удачу.

— Я вам не рассказывал, как меня на хуторе встретили. Ну, постеснялся, что ли. Мефодьич, конечно, свой человек, но не он один там хозяйничает. А бабы... бабы — они другое дело. Очень уж колхозницы за отступление обижаются.

— Обижаются, говоришь? — задумчиво повторил Саму-

сев. И резко, всем телом повернулся к Нечипоренко. — Слушай меня, Жора. А что, если...

Несколько часов спустя «даймлер» на последних литрах горючего добрался до хutorского луга, остановился у большой скирды. Две хорошо вооруженные группы бойцов обошли Подгорье — так назывался хutor — с флангов, с обеих сторон перекрыли дорогу, проходившую через хutor. А «парадный взвод», кое-как приведший себя в порядок, счистивший грязь с оружия, ступил на улицу хutora.

Вставай, страна огромная,  
Вставай на смертный бой...

Если бы и был на Подгорье какой-нибудь глухой и слепой паралитик, то и он наверняка в эту минуту выбежал из хаты. Гневная и грозная, каждому известная мелодия набатом прозвучала в утренней тишине. Дружно вбивая в землю каблучки, проходила по широкой хutorской улице колонна. Сбоку вышагивал Володя Заря, затянувший до предела широкий командирский ремень с кобурой трофейного парабеллума, вскинувший на плечо винтовку с оптическим прицелом. На его груди сияла рубиновой эмалью Красная Звезда.

И хотя второй год войны уже напрочь отучил людей от какого бы то ни было рода сентиментальности, голодные и ослабевшие бойцы в эти минуты чувствовали себя не обычными солдатами — чрезвычайными послами Москвы, будущими победителями настолько остро, настолько сильно, что комок подступал к горлу.

То, что они делали в эту минуту, было лишено какого-либо практического смысла. Маша и я, наведавшись на хutor, уже договорились о горючем. Но в том, чтобы здесь, в тылу у фашистов, вот так, парадным строем, пройти по главной улице, был свой, особый, не очень четко формулируемый, но всем и каждому ясный высший смысл.

Он был нужен и тем, кто вбухивал полуразбитые сапоги в еще не подсохшую уличную грязь, и тем, кто смотрел на все это. И никто, наверное, не мог бы определить, для кого из них все это было значительнее и важнее.

Пять дней назад под Ейском бойцы из госпитальной команды оказались в тылу у врага. После первой схватки они стали солдатами. Теперь они были победителями, и любой из них понимал, что это чувство, это ощущение чело- века-освободителя навсегда вошло в их жизнь и уже останется с ними до последней минуты.

А те, кто смотрел на них со стороны, кто бежал перед строем, не утирая радостных слез, кто кидался к тайникам, чтобы вытащить и отдать последний шмат съестного?

Едва ли кто-нибудь из участников или зрителей импровизированного парада анализировал тогда свои мысли и чувства. Просто каждый из нас понимал, что ему в эти минуты хорошо, очень хорошо, так хорошо, как давно уже не

было, но как должно было быть и обязательно будет всегда на нашей земле.

Вечером того же дня досыта напоенный горячим «даймлер» снова пылил по степи. Воротившиеся к сумеркам разведчики подтвердили «сводку» Трофима Мефодьевича — ни патрулей гитлеровцев, ни даже следов коротких встречных схваток боевых охранений в направлении Кизляра не было. И потому Самусев рискнул посадить в кузов всю свою команду.

На третий день, 17 сентября 1942 года, мы соединились со своими частями в районе Кизляра. Для бойцов нашей группы закончились шесть дней неожиданного рейда по тылам противника. Впереди оставалось 964 дня Великой Отечественной войны.

**Литературная запись Ивана ВОРОНИНА**





Впервые рассказ был опубликован в журнале «Всемирный следопыт» в 1930 году.

## I

**С**вистели суслики. Ныли мозоли. Был кирпичный чай, и не было сахара. Седой, пепельно-серебряный ковыль растילהся вокруг, и ломало глаза от сверкающего солнца.

Каменные бабы, освищенные ветрами тысячелетий, смотрели на нас с кургана удивленно и непонимающе.

Что могла понять древняя каменная баба в славном походе на Врангеля?

В этот жаркий день в наш отряд явился хлопец лет двенадцати-тринадцати и заявил:

— Как хотите, а я останусь у вас.

# Ракета

Рисунки Г. МАКАРОВА

У хлопца не было вовсе бровей, зато был маленький вздернутый нос и волосы цвета льна с таким странным вихром, словно хлопца лизнула корова шершавым ласковым языком.

Мы дали мальчугану краюху хлеба и напоили его чаем без сахара.

Обжигаясь чаем и шмыгая носом, хлопец рассказывал:

— Матка умерла, когда маленький был. Не помню матки. Отца белые повесили на воротах, а хату сожгли.

— За что отца порешили?

— Красноармейцам дорогу указал к белому штабу.

За чаем без сахара мы усыновили хлопца. Назвался он Санькой. Фамилию не спросили.

## II

Санька пришелся ко двору. Он был отменно весел, как заяблик. Веселость, удасть и беззаботность всегда скрашивают походы. Саньку полюбили.

Мы двигались к Перекопу, не зная, что взятие его будет греметь в веках больше, чем Бородино и Аустерлиц.

Командовал фронтом Фрунзе, большевик, выросший в подполье текстильной Шуи. Фрунзе был прост и храбр. За храбрость его уважали, за простоту любили.

Еще были в нем широкий кругозор вождя и большевистская воля.

Санька наш, захлебываясь, рассказывал о Фрунзе:

— Идет это он, навстречу красноармеец. «Куда, — говорит, — товарищ?» Взглянул красноармеец, видит — перед ним Фрунзе. Испугался. Лицо сделалось как все равно алебастр. «Простите, — говорит, — товарищ Фрунзе. Я больше не буду». — «Чего не будешь-то?» — «С разведки убежать». Красноармейца-то, молодого крестьянского парня, первый раз в разведку послали, он с непривычки и струсил. Фрунзе покачал головой и говорит: «Идем, брат, вместе». Так разведку и провели вдвоем — красноармеец и Фрунзе.

Саньку очень огорчало то

и человек с подковыркой, подмигивая, говорил Саньке:

— Тебе Михаила Васильевича Фрунзе не увидеть, как ушей своих. Он только героям показывается.

Санька сопел, как еж, и отходил от кашевара расстроенный.

### III

Мы неуклонно шли к Перекопу. Свистели в степи суслики. Свистели над степью пули.

У одной степной станицы, название которой теперь переименовано, стоял отряд штабс-капитана Уткина.

На фоне разлагавшейся



обстоятельство, что он Фрунзе не видел ни разу.

— Хоть бы в щелочку посмотреть на него! — мечтал Санька. — Хоть бы краешком глаза!

Кашевар наш, весельчак

врангелевской армии уткинский отряд выделялся своей дисциплинированностью и боеспособностью.

Дьявольски хорошо разместил Уткин своих пулеметчиков.



Мы изучили работу двух пулеметов на плоской высокой крыше. Они срывали все наши планы. Стоило нам чуть-чуть двинуться вперед, как с крыши начинался шальный ураганный огонь. Свинцовый ливень извергался на нас.

Мы дважды ходили в атаку и дважды отступали с потерями.

Был назначен день третьей атаки. Станица должна была быть нашей.

Разведчик Миша Чечевичин, парень отчаянный и изобретательный, вражеский кабель полевого телефона соединил с нашим.

Мы подслушали невеселые вести. Вечером с востока в станицу должно было прийти сильное подкрепление.

Положение наше было обоюдоострым. Идти в атаку днем — значит устлать подступы станицы трупами.

Идти в атаку ночью — допустить прибытие подкрепления.

Трудно установить, в чьей светлой башке возник этот чудесный план.

Впрочем, это неважно. Важно, что план был принят и положен в основу операции.

С величайшим старанием, высунув язык, склонив курчавую голову набок, наш каллиграф и борзописец Кучко с час пыхтел, подделывая почерк штабс-капитана Уткина. На счастье, у нас была перехвачена маленькая записка Уткина. Под уткинский почерк работал Кучко.

И сработал! Кажется, покажи мы кучковскую записку самому его благородию господину штабс-капитану, крикнул бы Уткин, потрогал бы себя за ус и признал записку своею.

Дали Саньке записку, ракету, сухарей, флягу воды и попрощались на всякий случай...

Санька растаял в степи, как махорочный дым. А мы стали чистить винтовки да писать домой письма. У некоторых это были последние письма.

#### IV

Санька идет, а думы у него невеселые. Надо пробраться в станицу. А как пробраться?

Еще вечером — туда-сюда, а днем трудно. Дозор!

Километра за четыре от своей части повстречал Санька автомобиль. Черный, лаковый, как огромный жук, автомобиль летел, словно не касаясь земли, по степной дороге, вздымая голубоватую струю пыли.

Вдруг выстрел!

Автомобиль остановился. Шофер быстро слез и стал возиться над задним колесом. Оказалось — не выстрел, а шина лопнула.

В автомобиле сидели двое. Один молодой, бритый, долговязый, с глазами голубыми и холодными. Другой широкоплечий, немного сутулый, с бородкой, с темными выразительными глазами.

Увидел человек с бородкой Саньку — улыбнулся. Светло, тепло, хорошо так улыбнулся. Словно не чужой это, в первый раз встреченный человек, а родной. Вроде отца или брата.

— О чем задумался? — спросил человек с бородкой, когда Санька поравнялся с автомобилем.

— Военная тайна, — ответил Санька.

Бородач, все еще улыбаясь,

посмотрел на бритого. Потом подозвал Саньку.

— А ну-ка, Аника-воин, посвятить нас в военную тайну. Нам можно. Мы из штаба армии. Можем документы показывать.

Посмотрел Санька на людей в автомобиле — видит, народ солидный. Возьми и расскажи.

Видит Санька, бородач перестал улыбаться. Наоборот, глаза его подернулись как будто печалью.

— Малыш, — говорит бородач бритому, — совершенный малыш, а воюет, как взрослый. Не один он. Много у нас в армии малышей.

Выслушав Саньку, бородач присоветовал ему обратиться к деду Онуфрию, который жил в землянке неподалеку.

Шину сменили. Автомобиль умчался. Санька пошел к деду Онуфрию. Дед сидел на пороге своей степной хижинки и сосал трубку. Увидев Саньку, плюнул и сказал:

— Вот. Пусть расстреляют, а я из своей норы не уйду, Сурок имеет свою нору. Суслик тоже. А я чем их хуже?

По-видимому, дед продолжал давно начатый разговор.

— Дедусь, как в станицу пробраться? — спросил Санька.

— А чего в нее пробираться? Не вор, чай. Иди прямо по дороге и в станице будешь. Верста отсюда.

— Не, дедусь. Мне не в эту станицу. Это красная. А мне в ту, где беляки, врангелевцы сидят.

— А почто тебе туда?

Путаясь и мямля, Санька рассказал выдуманную историю об отце, пропавшем без вести.

Дед посмотрел на Саньку и сказал:

— Вон ту балку видишь? Иди той балкой до самой речки, а речка в самую станицу течет. В кустиках там лодчонка есть. Отвяжи и езжай на дне. Может, не заметят. А заметят — чего с тебя взять? Мал ты. Несмышлелыш.

Санька двинулся к балке, дошел до речки. А на речке в зарослях ивняка качались лодки.

## V

Сиреневые сумерки ползут на степь. Тишина. Станица словно вымерла. Это не простая тишина и не простое безлюдие. Штабс-капитан Уткин узнал о третьей решительной атаке. Отряд наготове. По первому сигналу ливни свинца обрушатся на головы наступающих.

Тут математика, простая математика. Чудес нет вообще. На войне нет даже иллюзии чудес. Выбранный, причисленный, штабс-капитан Уткин ждет с минуты на минуту рапорта о том, что с востока из-за реки показались части врангелевцев. Это подкрепление.

Конечно, придется открыть огонь, если противник дерзнет перейти намеченную им, Уткиным, черту. Но лучше было бы огня не открывать до прихода подкрепления. Тогда станица стала бы фортом, опорным пунктом. Пожалуй, можно было бы ударить на красных...

Штабс-капитан Уткин спокоен: дозоры на местах, пулеметчики, краса и гордость уткинского отряда, бодрствуют.

Зорок и хищен похожий на степного волка пулеметчик Любченко, засевший на плос-

кой крыше. Это он, главным образом он отбил две атаки. У него выгоднейшая позиция.

Сиреневые сумерки ползут на степь, и все еще нет сигнала открывать огонь.

Сигнал привычен: сполох станичной звонницы.

Тишина. Любченко хочется закурить. Нельзя. Скоро дело. Вдруг чуткое ухо пулеметчика слышит шорох. Кто-то лезет на крышу. Тихо, как мышь. Осторожно, как ласка.

Врагов тут нет, не может быть. Кто же?

Лицо мальчугана на несколько мгновений показывается над крышей.

— Записка... от Уткина...

«Совершенно секретно.

Нас обошли. Враг близок. Наступающий противник стройными колоннами покажется с восточной стороны станицы. Срочно перестрой пулемет. До сигнала — полнейшая тишина. В виде сигнала будет пущена ракета. По сигналу открывай немедленно ураганный огонь по противнику на востоке (дорога с ветлой). Бей как можно сильнее и — главное — безостановочно.

Штабс-капитан Уткин».

Любченко прочел и нахмурился. Слово «обошли» на фронте всегда звучит тревожно. Веет холодом могилы от



Секретная... — шепчет мальчуган.

Любченко берет записку. Ого! Коль Уткин перед делом посылает записку, значит дело серьезное.

этого слова. Но характерный, твердый почерк Уткина вселяет бодрость.

— Есть, ваше благородие! Красные обошли нас, но они не знают, что с этой крыши на восток бить еще сподручнее, чем на север.

Любченко быстро перестроил пулемет, взяв на прицел ветлу на дороге. Сиреневые сумерки ползут на степь.

Санька лежит на скирде. Записка передана. Остается последнее — пустить ракету в нужный момент.

Санька протирает глаза. На восточной дороге маячит большая дуплистая ветла. Скорей бы, скорей бы... А то будет темно, не увидишь.

Степь молчит. Молчит беспощадный пулемет на крыше. Красноармейцы изучили его коварный нрав. Он молчит до поры до времени. Он подпускает до роковой черты, до верного прицела. Переступи эту смертную черту — и начинается огненный крутень, ярый водопад пуль...

Никто не знает, где дугой изогнулась по степи невидимая черта, после которой начинается ад.

## VI

Стемнело. Уже смутно маячит ветла. У Саньки ракета наготове. Вот что-то шевельнулось в сумерках. Может быть, это от набежавшей слезы в глазу?

Нет, теперь уже ясно видно — это отряд. Усталый вид, вялый шаг — видно, трудный и дальний был переход.

Санька зажмурился. Ракета взлетает ярко и ослепительно.

Она рассыпается в недостижимой высоте изумрудно-зелеными звездами. Звезды сыплются куда-то в ковыльную степь.

Одна минута томительной, душной тишины. Потом тишина лопается. Остервенело, бешено обрушивается пулемет. Он бьет, как чудовищный глухарь на току, — в одиночку. Его никто не поддерживает.

Если бы не этот обезумевший пулемет, была бы над

станцией, над колыхающими усталыми отрядами тишина.

Но пулемет сумасшествует. И отряд смят.

Офицеры смачно и выразительно ругаются. Роты рассыпались, ищут прикрития. Пулемет неистовствует. По цепи уже ползут панические слухи:

— В станице красные... Уткин повешен...

В станицу посылается первый недружный залп. Потом второй, дружнее.

Измученные долгим переходом, лишенные близкого и желанного отдыха врангелевцы ожесточенно обстреливали врангелевцев.

Санька, поднявший всю эту суматоху, глубже и глубже зарывается в скирд. Он не слышит, как к Любченко подъезжает адъютант Уткина и, громыхая бранью, кричит: — Прекратить! Отставить!

Впрочем, не слышит его и Любченко, ставящий новые рекорды в быстроте стрельбы.

Уткин носится по станице на своей гнедой кобыле и, потрясая кольтом, орет:

— В своих стреляют, мерзавцы! Это заговор!

К бешеному пулемету Любченко присоединяют свои голоса еще два пулемета. Залпы со стороны подкрепления сбивают с толку Уткина. У него бьется жилка на виске.

В суматохе и горячке штабс-капитана посещает такая маленькая, такая остренькая, такая предательская мыслишка: а что, если противник ухитрился зайти с тыла и берет станицу голыми руками?!

Не щадя себя, Уткин выезжает на дорогу, всматривает

ся. Во мгле трудно что-нибудь разглядеть. Ясно одно: на восточной дороге — цепи. Не отряды, а цепи. Не идут, а ползут. Ползут, чтобы перекусить горло уткинскому отряду, а самого Уткина повесить на той дуплистой ветле. Уткина бьет озноб.

Он больно бьет гнедую кобылу и скачет перестраивать отряд. В душистой степной тьме завязывается бой врангелевцев с врангелевцами.

Санька сидит глубоко в недрах скирда и ждет своих. Он плохо соображает, что творится в станице.

Громовое, ликующее «ура» с севера решает дело. Уткину становится понятным все. Мгновенно оценив положение, он находит один только выход — бегство. Впрочем, этот выход находит не он один.

Отряд, потеряв ориентацию, не слыша команды и не видя командира, бежит. Мчат тачанки. Бегут солдаты с перекошенными от ужаса и ярости ртами. Загорается хата. Багровое пламя вьется, завивается в чудовищные кудри.

Пулеметы замолкают один за другим...

## VII

Вечером у золотых костров много говорили о Саньке.

Но пришло утро. Внезапно возникла перестрелка. Перестрелка разрослась в яростный бой. И начался откат врангелевских банд к Сивашу, к Перекопу, к увитому виноградниками изумрудному Крыму.

В огне и дыму мы позабыли, казалось, свои имена. Где

тут помнить о Санькином походе?

Нас перебрасывали. Мы делали чудовищные по стремительности переходы. Мы все знали, что настал последний и решительный бой с бароном фон Врангелем.

Передыхка была у самого Перекопа.

Горели чудовищные напряженные зори ноября. Каждый из нас — и Санька тоже — был маленькой песчинкой в великом историческом самуме.

Мы опомнились, пришли в себя и оглянулись друг на друга в Крыму, когда барон фон Врангель оставил нам в виде трофея клочки своего последнего в России «манifesta».

«Пути наши неизвестны, — горько сетовал барон, — казна пуста, и ни одно государство не дало еще согласия на прием беженцев...»

Черное море бушевало штормами. Горы холодной воды штурмовали берега, разбиваясь о камни на миллиарды мельчайших брызг.

Было похоже на то, что и море не дало согласия на прием врангелевских беженцев и хочет выплюнуть их назад.

На берегу, у самого моря, стояли двое, прислушиваясь к шуму прибоя. Сидя на буром диком камне, Санька хорошо разглядел их.

Один был высокий, в гимнастерке, на которой против самого сердца было привинчено два ордена Красного Знамени.

Другой — коренастый, крепко сложенный, с бородкой, с ласковыми глазами.

Санька сразу узнал его. Это он с лакового автомоби-

ля в степи посоветовал Саньке идти к деду Онуфрию.

В сверкающем огнями доме раздались аплодисменты. Потом все стихло.

— Концерт кончился, — сказал высокий. — Так мы, Михаил Васильевич, и не услышали концерта.

Широкогрудый человек с бородкой кивнул головою задумчиво. Потом они пошли к дому. Санька — за ними.

Встречные козыряли. Улыбались. Уступали дорогу.

— Кто это? — спросил Санька встречного командира.

— Это? Из Реввоенсовета Первой Конной.

— Он с двумя орденами?

— Да.

— Нет, я о другом... с бородкой.

Командир посмотрел на Саньку укоризненно, словно осуждая Санькино непростительное незнание, и сказал твердо и почтительно:

— Это Фрунзе!

**На 1-й стр. обложки** — рисунок П. ПАВЛИНОВА к повести Юрия Федорова «Там, за холмом, — победа».

**На 3-й стр. обложки** — рисунок Г. МАКАРОВА к рассказу К. Алтайского «Ракета».

---

Редакционная коллегия: А. Г. АДАМОВ, А. П. ДНЕПРОВ, А. П. КАЗАНЦЕВ, Н. И. КОРОТЕЕВ, А. А. НОДИЯ, Ю. Б. САВЕНКОВ, В. С. САПАРИН, Н. В. ТОМАН, В. М. ЧИЧКОВ.

Редакторы выпуска: О. СОКОЛОВ, В. ОСТРОУМОВ.

Художественный редактор А. ГУСЕВ

Технический редактор Р. ГРАЧЕВА

---

Рукописи не возвращаются.

Издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия».

Адрес редакции: Москва, А-30, Суцевская, 21. Тел. Д 1-15-00, доб. 4-10.

---

Сдано в набор 2/IX 1967 г. Подп. к печ. 13/X 1967 г. А14412.  
Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Печ. л. 5 (усл. 8,4). Уч.-изд. л. 10,5.  
Тираж 300 000 экз. Цена 20 коп. Заказ 1957.

---

Типография изд-ва ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия».  
Москва, А-30, Суцевская, 21.





В „Кают-компани“  
„Вокруг света“ — от-  
важные советские раз-  
ведчики, работавшие  
в годы войны в фа-  
шистском тылу, — ге-  
рой очерка А. Лукина  
„Львовский аккорд“,  
опубликованного в  
майском номере жур-  
нала. Судьба двух  
героев очерка ранее  
была неизвестна...



Цена 20 коп.

## ВОКРУГ СВЕТА

*Журнал основан в 1861 году.*

Научно-художественный  
ежемесячный журнал ЦК ВЛКСМ  
путешествий, приключений и фантастики

**ЧИТАЙТЕ  
В БЛИЖАЙШИХ  
НОМЕРАХ  
„ВОКРУГ СВЕТА“**

Фантастическая повесть  
Скотта Фицджеральда «Ал-  
маз величиной с отель  
«Риц»».



ФАНТАСТИКА ● ПРИКЛЮЧЕНИЯ